

Марк
Харитонов

Провинциальная
философия



Самое время!

Марк Харитонов

**Провинциальная
философия : трилогия**

«WebKniga»

2017

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2=411.2)6

Харитонов М. С.

Провинциальная философия : трилогия /
М. С. Харитонов — «WebKniga», 2017 — (Самое время!)

ISBN 978-5-96-911673-3

Трилогия Марка Харитонova (р. 1937) «Провинциальная философия» впервые издается на русском языке одной книгой. В нее входят романы «Прохор Меньшутин» (1971, опубликован в 1988), «Провинциальная философия» (1977, опубликован в 1993), «Линии судьбы, или Сундучок Милашевича» (1980—1985, премия «Русский Букер», 1992). Все три книги связаны общими персонажами, общим местом действия, провинциальными городками Нечайск и Столбенец, общим продолжающимся сюжетом, «тихим, но могучим дыханием неуголимой страсти» (Андрей Немзер). В полном виде трилогия публиковалась только по-французски по инициативе выдающегося слависта профессора Жоржа Нива, отмечавшего «неподражаемый колорит, который ощущается во всех работах большого писателя». Отдельные части трилогии публиковались также на английском, чешском и китайском языках.

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2=411.2)6

ISBN 978-5-96-911673-3

© Харитонов М. С., 2017
© WebKniga, 2017

Содержание

Информация от издательства	5
Проход Меншутин	6
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Марк Харитонов

Провинциальная философия

Информация от издательства

Художественное электронное издание

Автор благодарит за помощь в подготовке этого издания сына Алексея и внука Арсения

В оформлении использована графика Галины Эдельман

Харитонов, М. С.

Провинциальная философия: трилогия / Марк Сергеевич Харитонов. – М.: Время, 2018. – (Самое время!)

ISBN 978-5-9691-1673-3

Трилогия Марка Харитонova (р. 1937) «Провинциальная философия» впервые издается на русском языке одной книгой. В нее входят романы «Прохор Меньшутин» (1971, опубликован в 1988), «Провинциальная философия» (1977, опубликован в 1993), «Линии судьбы, или Сундучок Милашевича» (1980–1985, премия «Русский Букер», 1992). Все три книги связаны общими персонажами, общим местом действия, провинциальными городками Нечайск и Столбенец, общим продолжающимся сюжетом, «тихим, но могучим дыханием неуголимой страсти» (Андрей Немзер). В полном виде трилогия публиковалась только по-французски по инициативе выдающегося слависта профессора Жоржа Нива, отмечавшего «неподражаемый колорит, который ощущается во всех работах большого писателя». Отдельные части трилогии публиковались также на английском, чешском и китайском языках.

© М. С. Харитонов, 2018

© В. Калныныш, дизайн серии, 2018

© Г. Эдельман, графика, 2018

© Состав, оформление, «Время», 2018

Прохор Меньшутин



1

Когда супруги Меньшутины поняли, что своих детей у них уже не будет, они решили взять приемыша. Это была девочка двух с половиной лет, темноволосая, худенькая, большеротая – этаким лягушонок. На какую-то минуту Анну Арсеньевну смутила мысль, что среди детей, которых им показывали, можно было выбрать и по красивее; но Прохор Ильич твердо остановился на этой, и в следующую минуту сомнения стали праздными: свой ребенок – о чем говорить. Имя девочке было приготовлено давно: Заира; у Прохора Ильича с ним было связано смутное, но глубоко запавшее театральное воспоминание о некой прекрасной героине, о характере страстном, женственно-сильном и ярком. Называя так девочку, Меньшутин словно примерял к ней этот характер. Он подходил к выбору имени как автор, ясно и далеко определивший своих персонажей, – когда убежден, что нельзя назвать человека Павлом, если он явный Валентин, и что женщина по имени Елена обязана, а то и обречена быть

красавицей, причиной мужского соперничества. Говорил он такие вещи, конечно, полушутя, но Анна Арсеньевна подозревала, что муж и впрямь подбирал девочку под заготовленное имя; какую одному ему очевидную Заиру вообразил он в этом большеротом заморыше – бог весть. Против имени Анна Арсеньевна ничего не имела, отнюдь, ее только смущали иногда все эти мужнины фантазии. С обычным своим здравым юмором она напомнила ему анекдот про учителя математики, назвавшего дочек Медя и Бися, то есть Медиана и Биссектриса; Прохор Ильич с готовностью подхватил шутку и сам рассказал парочку историй на ту же тему. Насколько он в этом деле серьезен, понять бывало трудно. Он ведь и своему простоватому крестьянскому имени любил давать многозначительное толкование: Прохором звался, оказывается, предводитель древнегреческого хора, первое его лицо, запевала и главный танцовщик, исполнитель и одновременно дирижер-постановщик, – можно сказать, воплощение универсальной идеи артиста. Меньшутин говорил, что, лишь вычитав это из случайного словаря, он окончательно утвердился в выборе профессии. Слушатели посмеивались – впрочем, не вполне уверенно; очевидно, тут была шутка, но в том-то и дело, что с него это могло стать и всерьез. Такой уж он был человек.

Он был артист, солист филармонии в областном приволжском городе. Перед войной он начинал играть в драматическом театре, с фронта вернулся прихрамывающий, и это, конечно, затруднило его работу, хотя на сцене Прохор Ильич умел сделать свою хромоту почти незаметной. Скоро он перешел на эстраду, не без успеха вел конферанс собственного сочинения, при надобности мог спеть куплеты, пожонглировать и даже показать довольно сложные фокусы. Главным же умением Меньшутина, которое определило его положение на эстраде, была способность к звукоподражанию. Он мог представлять голоса животных и любой музыкальный инструмент; номера его так и назывались: «Соло на балалайке без балалайки» или «Соло на саксофоне без саксофона»; таким же образом он мог изображать гавайскую гитару, скрипку, арфу или валторну; мог, кстати, играть и на настоящих инструментах, но все самоуком, по слуху – нот он не знал. Жена Анна Арсеньевна аккомпанировала ему на рояле. Вообще его отличала азартная жадность до любых новых знаний и умений, пусть даже практически ненужных; на его полках можно было встретить книги по философии и медицине, истории искусств и даже физике, были здесь и редкости вроде старинного Брюсова календаря или «Сонника Мартына Задеки» 1914 года издания; среди его знакомых имелись садовники и циркачи, в том числе один заезжий гипнотизер, который когда-то бежал из румынской тюрьмы, внушив охранникам, будто перед ними важное начальство, и которому ничего не стоило всучить любому кассиру вместо красной тридцатирублевой ассигнации чистенькую бумажку (в виде опыта, естественно, не всерьез). Последнее знакомство, увы, оказалось недолгим, новый приятель Меньшутина внезапно исчез из города; так и осталось неизвестным, успел ли Прохор Ильич приобщиться к его тайному умению. Некоторые говорили, что ему и учиться не надо: в его больших, желтоватых, с влажной поволокой, как у красивой женщины, глазах светился какой-то завораживающий огонек, и, встречаясь с ним взглядом, люди испытывали странное смущение. К счастью, он имел привычку говорить, не глядя на собеседника, – словно прислушиваясь к своим, внутренним мыслям, которым посторонние впечатления только мешали.

У него была несоразмерно крупная голова с высоко облысевшим лбом; тело казалось из-за этого коротким, хотя стоило ему стать с кем-то рядом – и обнаруживалось, что он по меньшей мере среднего роста, даже несколько выше. Лицо было не полное, но круглое по устройству черепа; шишечка толстоватого носа чуть сдвинута вправо; на подбородке и над неровной верхней губой – ямочки-бороздки, такие глубокие, что в них то и дело оставалась недобритая щетина. Несимметричное это лицо порой могло выглядеть нервным, напря-

женно-энергичным, но в каком-то повороте освещения оно словно разглаживалось, становилось невыразительным, мягким, почти бабьим. Столь же странно-двусмысленным был голос Меньшутина; на сцене хорошо поставленный благородный баритон, в обычном разговоре он оказывался неярким, суетливым, сипловатым; так трудно бывает узнать певца, когда он изъясняется повседневной прозой. Этот обыденный голос, пожалуй, больше подходил к прозаической внешности Прохора Ильича, к его носу-картошке и вечно растрепанным волосам; благородный баритон вызывал несколько даже комическое несоответствие, каковому Меньшутин отчасти и был обязан своим успехом в роли конференсье.

Но уж что действительно способно было вызвать смущение – так это его характер. Определеннее всего судили о Меньшутине люди, недолго его знавшие, а таких было большинство, – он был общителен, но непривязчив. Говорили о нем как о человеке способном, даже по-своему талантливом – но как об одном из тех нередких на Руси «вообще» талантливых людей, которым словно какой-то неясный зуд мешает осуществить свои возможности в серьезном положительном достижении; до седых волос они лишь пробуют силы – может быть, от чрезмерной широты, от неспособности удовлетвориться одной частной областью, удержаться на одном месте и сосредоточиться на одном умении, может, от пренебрежения к житейской реальности – в фантазиях о чем-то теоретическом, неопределенно-великом. Меньшутин был слишком невнимателен к повседневной прозе, а уж тем более к обычным артистическим хлопотам и интригам, без которых в этой своеобразной среде, видно, не обойтись; при весьма порывистом темпераменте он был чересчур уступчив и неделовит, а в результате всю жизнь оказывался обойден и ролями, и квартирами, и путевками. Некоторые находили в нем черты типичного чудака-неудачника – впрочем, по-своему счастливого, ибо сам он как будто не замечал ущемленности и многочисленные истории своего невезения рассказывал с привычным юмором.

Например, о том, как в войну, которую Прохор Ильич начинал санитаром в прифронтовом госпитале, он однажды потерял мочу знаменитого генерала. То есть, если выразиться точнее, разбил пузырек, доверенный ему для доставки в лабораторию, – а потом стоял навзрыжку перед начальником госпиталя (Прохор Ильич изображал все это весьма картинно) и, не понимая, почему тот воспринял событие так трагически, с заиканием, которое иногда появлялось у него от волнения, бормотал в свою защиту: «Т-так он еще может...»

Или, скажем, историю, объяснявшую происхождение его хромоты, тоже фронтовую, когда Меньшутин служил уже в пехоте (он давно, по его словам, рвался из госпиталя, но лишь после случая с мочой был наконец с удовольствием отпущен) и товарищи послали его в деревню за самогоном. Потом только он понял, что то была шутка, розыгрыш, никто и не ждал, что он всерьез отправится к указанной ему крайней избе (якобы обитавшая там бабка-самогонщица была просто выдумкой остряков, игрой, так сказать, их веселого воображения). И уж конечно, никто не мог ждать появления у околицы шального немецкого мотоциклиста; промчав мимо первых изб и поняв свою ошибку, он тут же рванул назад, и единственной жертвой его единственного, с перепугу, выстрела оказался Прохор Ильич Меньшутин. Но самое-то интересное – из-за пазухи у него подоспевшие товарищи извлекли зеленую литровую бутылку, полную самого настоящего, еще теплого самогона, причем очевидцы подтверждали, что он никуда не заходил, кроме той самой крайней избы...

Такие вот истории он о себе рассказывал; может, присочинял, но может, и нет; происшествия были в его духе. Он до сих пор отличался забавным простодушием, держался со всеми как младший по возрасту, радовался любой возможности услужить; показать встречному дорогу было для него удовольствием – он делал это со вкусом, готовый проводить до самого места и чуть ли не поблагодарить за то, что к нему обратились. При не лишенном внушительности внешнем виде во всей повадке Меньшутина проявлялось по сравнению с любым из коллег его возраста что-то несолидное, школьное – как в слове «промокашка»

рядом со словом «пресс-папье». Он так и шел по жизни – с подрагивающей смущенной улыбкой на неровных напряженных губах, точно извинялся перед всеми за свою неловкость, незадачливость. В невезении своем Прохор Ильич был убежден фатально и, когда ему предлагали разыграть с кем-либо по жребию путевку или, напротив, малопривлекательную гастроль в подшефный район, заранее соглашался считать себя проигравшим. Если же кто-то настаивал на подтверждении, Прохор Ильич подбрасывал монету, и она у всех на глазах три раза подряд неизменно падала вверх решкой – зрители только сочувственно разводили руками, а Прохор Ильич, втянув голову в плечи и, по обыкновению, ни на кого не глядя, для вящей убедительности продолжал подбрасывать монету – и она падала вверх решкой пять, десять и пятнадцать раз подряд, издеваясь над утешительными законами вероятности... Вот тут-то присутствовавшие начинали испытывать неясное смущение, в туманной улыбке Меньшутина готова была почудиться двусмысленность, и хотя сам же он, словно извиняясь за допущенную нелепость, поскорее возвращал разговор к чему-то более достойному, те, кого этот привкус двусмысленности, сомнительности настигал неоднократно, уже не могли просто от него отмахнуться, так что чем дольше знал человек Прохора Ильича, тем менее уверенно брался он о нем судить. Особенности же сомнения испытывала иногда жена Меньшутина, Анна Арсеньевна.

Это была миловидная, девически стройная женщина с прекрасными рыжеватыми волосами, которые она безжалостно укорачивала, чтобы не тратить лишнего времени на прическу, но которые, несмотря ни на что, сохраняли неукротимую пышность. Лицо ее с нежно-белой кожей, какая бывает у рыжих людей (к весне на ней собирались проступить веснушки, но так и оставались не проявившимися, как на недодержанной фотографии), обладало способностью краснеть в самую неожиданную минуту, когда Анна Арсеньевна вовсе и не думала смущаться; от этого она в самом деле смущалась и, досадуя на себя, старалась держаться и говорить в такие минуты с подчеркнутой независимостью, отчего становилась лишь более привлекательной. Ум у нее был насмешливый и куда более трезвый, чем у мужа; если Прохор Ильич добился какого-то положения, то во многом благодаря ей. И дело не в том, что она обладала большей хваткой, – для себя ей ничего особенного не было нужно, она была из тех людей, что на званом ужине берут себе от общего пирога самый маленький ломтик – и не только потому, что вообще мало едят, – им так просто даже приятнее; ее не тяготила теснота маленькой комнаты в коммунальной квартире, где после десяти запрещалось играть на пианино, свою очередь на новое жилье она уже уступила однажды шоферше с ребенком. В этом смысле она была под стать мужу. Но она не могла смотреть, как ущемляется его самолюбие; она любила его, и она переживала, видя, что сам он как будто не способен был это понять. Когда в театре, где прежде работал Прохор Ильич, не постеснялись воспользоваться его талантом звукоподражания и пригласили изображать за кулисами в каком-то детском спектакле собачий лай и петушиный крик, а он согласился – он просто не умел отказываться, и главное, не считал унижительным лаять за кулисами сцены, где ходил когда-то полноправным, пусть и не на первых ролях, актером, – Анна Арсеньевна не позволила ему этого делать. Если б еще хоть кто-нибудь способен был оценить, каким искусством на самом деле был его лай! Никто не мог сравнить его с природными голосами, никто, кроме Анны Арсеньевны, не подозревал, как глубоко постиг он тонкости звериного языка; он различал и мог воспроизвести их ласку, умиленность, гнев, предостережение, он мог заставить ворона в небе задержать свой полет и снизиться, издав гортанный, металлически-резкий крик; коза, привязанная к колышку, начинала нетерпеливо рваться навстречу его голосу, зяблики и чижи заводили с ним простодушные дуэты, ласточки ныряли в свои лепные гнезда, когда он говорил им об опасности, и голенастые лоси величаво неслись к нему сквозь осенний лес, ломая сухие ветки...

Она была влюблена в своего мужа, верила в его незаурядность и, в отличие от других, подозревала, что сам он вовсе не лишен честолюбия, может быть, крайнего, чрезмерно общего. Ее то и дело озадачивала его склонность вводить самые простые жизненные вещи и события в переплетении многозначительных символов, ассоциаций, теорий.

Одна из наиболее занимавших его идей была связана со значением имени Прохор, смысл которого он для себя со временем уточнял.

– Это все-таки не актер, не деятель сцены, я убеждаюсь. Это был участник древнейшего действия, понимаешь? Не спектакль, не искусство – эпизод жизни, возведенный в степень искусства, – вот его сфера. Когда нет отдельно зрителей и актеров, нет рампы и сцены, люди не играют – они живут по законам игры, по мифической схеме. И как живут!.. то есть жили... Ах, черт возьми! Они плакали настоящими слезами и смеялись настоящим смехом, они могли по-настоящему умереть в экстазе, разыгрывая неизвестно кем сочиненный сценарий. И переставали хоть на это время быть глиной, повседневным месивом, удостаивались формы – формы, понимаешь?.. – и направляли все это его пальцы, пальцы Прохора. Хоть он вроде и сам был всего лишь частицей той же глины... А?! Когда думаешь об этом, ясно, почему тебя так давит коробка сцены... кулисы, задник, зрительный зал где-то под ногами, – это, право, сковывает. Я – Прохор, сцена не по мне, в ее рамках я не могу до конца осуществиться, оформиться, стать самим собой. Не знаю, не знаю... В прежнем виде – как праздник, мистерия – все это, разумеется, ушло, да и не в греках дело. То, что осталось: какие-нибудь обряды, масленица, – жалкие отголоски... Я ведь еще помню, – баритон Прохора Ильича размягчался от воспоминания, – я помню ряженных, коляды, кулачные бои на реке, стенка на стенку. Я ведь вырос в маленьком городишке. В сущности, я провинциал. Это чувствуется. Иногда мне кажется, что в таком вот городке, где все друг друга по-соседски знают, мне и сейчас было бы проще. Там можно бы что-то попробовать, там живешь по-другому. Там все может произойти. Наша российская провинция, знаешь ли, край фантастический. А? Иногда приходит на ум бог знает что...

Он говорил, глядя внутрь себя, изгибая в неровной улыбке уголок большого рта, мял, похрустывая, свои крупные подвижные пальцы. Анну Арсеньевну такие разговоры заставляли насторожиться.

– Все это слишком сложно для женского ума, – говорила она, прищурясь. Готовая любовно восхищаться обширностью его познаний, она сомневалась, на пользу ли артисту такая эрудиция, а главное – она боялась обнаружить за этими премудростями и фантазиями самооправдание неудачника, комплекс лисицы, не сумевшей дотянуться до винограда. Каждый раз, когда он возобновлял свои туманные, осторожные намеки, Анна Арсеньевна охлаждала его здоровыми и насмешливыми доводами. Прохору Ильичу это всегда нравилось, он защищался мягкими остротами, начиналось их обычное веселое пикирование, заставлявшее обоих все больше восхищаться друг другом и заканчивавшееся объятиями и нежностями, потому что кто-кто, а они с годами ничуть не утратили способности и вкуса к любовному сумасбродству.

Анна Арсеньевна была влюблена в своего мужа. Если б она знала наверняка, что ему надо! Действительно ли ему хочется оставить сцену? Действительно ли его самолюбие не трогают повседневные уколы? Ведь даже продавщицы и кассирши в магазинах считали своим долгом обвесить и обсчитать его – как будто на взгляд чувствовали, с кем имеют дело. Анна Арсеньевна пыталась и тут воздействовать на него иронией – и наконец дождалась: впервые услышала однажды, как он ругается в магазине с продавщицей.

– Ну это уж совсем наглость, – говорил он своим сценическим благородным баритоном, с некоторой дрожью волнения. – Я понимаю обвесить на пять граммов, ну на десять, как всегда. Но сразу на полкило... это извините...

– Почему... да вы что? – бормотала растерянная продавщица. – Вы же выбрали за килограмм.

– Совершенно верно. Килограмм сахара. Я специально два раза повторил.

– Ну?

– А у вас что весы показывают? Пятьсот граммов. Смотрите. Даже четыреста девяносто пять. Думаете, опять промолчу? Нет уж, виноват. Молчал – но надо и честь знать.

– Так я на другую сторону еще гирьку положила, – все еще ошарашенно оправдывалась продавщица и в доказательство даже приподняла эту гирьку. – Вот, полкило...

Анна Арсеньевна стояла поодаль у кассы и видела, как Прохор Ильич словно даже в росте уменьшился; забормотал извинения уже другим, осевшим и как бы скомканным голосом, подхватил свой злосчастный кулек и попятился от прилавка, сопровождаемый напутствием продавщицы, которая наконец овладела подлинным тоном и стала прохаживаться насчет «интеллигентов несчастных», насчет «нужны мне ваши копейки» и, увы, как это ни банально, насчет шляпы, которую Прохор Ильич то и дело нервно поправлял на голове. Он пятился, с нелепой улыбкой кивая головой, – не то признавая вину, не то раскланиваясь, – пока не нашел взглядом Анну Арсеньевну (казалось, он готов подозвать ее тем автоматическим жестом, каким всегда представлял публике своего аккомпаниатора), быстро подхватил ее под локоть и поспешил ретироваться. Лицо Анны Арсеньевны пылало, она готова была поколотить этого нескладного человека, но, когда они вышли – почти выбежали из магазина, ей стало вдруг смешно, и Прохор Ильич, который все отдувался, покачивая головой и отирая платком высокий лоб под шляпой, тоже неуверенно хмыкнул... Больше она к этой теме возвращаться не рисковала.

Примерно в ту же пору, когда начались разговоры об уходе со сцены, Прохор Ильич загорелся мечтой о дочери; казалось, эти две идеи были для него связаны. Тут Анна Арсеньевна ничего не имела против; она лишь вносила корректив в ту полную символов многозначительность, с какой он, по обыкновению, обставлял это решение. Для нее все называлось словами более простыми, но не казалось от того менее прекрасным. Оба они были тогда еще достаточно молоды, однако им пришлось без малого полтора года поволноваться, пока Анна Арсеньевна не убедилась, что забеременела. Это было время их самой счастливой близости, когда они чувствовали себя настолько слитными, что слышали мысли друг друга издали, без слов; находясь в разных концах города, они физически ощущали, как их тянет, тянет друг к другу – на трамвае, потом пешком, бегом по тесным дремучим переулкам, тянет, приподнимая над поверхностью земли, сквозь тихий звенящий воздух, так что они могли бы находить направление не глядя, двигаясь словно по невидимой силовой линии – напрямик, с досадой огибая углы, как ненужное препятствие, – чтобы наконец соприкоснуться, прижаться, вжаться друг в друга и вновь стать одним целым...

Вздорная соседка, запрещавшая им по вечерам играть на пианино, как раз в ту пору написала на них заявление, полное туманных фраз о «людях, пренебрегающих правилами общежития в период, когда мы идем к торжеству новой морали». Анна Арсеньевна не сразу поняла, почему при этом была упомянута тонкостенность перегородки между их комнатами, а когда поняла, покраснела, как никогда в жизни. Дело в том, что их двухэтажный, с надстройкой, дом представлял неумышленный строительный шедевр своей редкостной сейсмической чувствительностью. Не только проход трамвая по отдаленной улице, но даже детские прыгалки во дворе отзывались звоном стаканов и рюмок в буфете, дребезжанием стекол в плохо промазанных окнах, а иногда – если удавался резонанс – и звуком той или иной струны

пианино. О знаменитом ашхабадском землетрясении Меньшутины узнали до всяких газет – с подробностями о часе и минуте и примерной силе толчка, от которого упала с буфета и разбилась фарфоровая статуэтка балерины. Впервые догадавшись, какое беспокойство доставляет соседке их счастье, Анна Арсеньевна почувствовала себя до беспомощности виноватой. Соседка была пожилая дева с фантастической фамилией Луначик. Прохор Ильич, верный своей теории, предположил, что из-за фамилии она и осталась в девицах, на что Анна Арсеньевна резонно возразила, что ее родителям та же фамилия не помешала произвести потомство. На что Прохор Ильич тоже не без резону заметил, что родительница Луначик вряд ли имела вдобавок имя Индонезия Семеновна. Тут уж Анне Арсеньевне пришлось с ним согласиться. Но в своем имени бедная Луначик была не виновата. Анна Арсеньевна просто не знала, как ей угодить и чем утешить.

Так она всю жизнь и жила – с ощущением вины за счастье, которым не вольна была поделиться со всеми. А какое у нее было особенное счастье? Такой палец покажи – засмеется.

За полтора года ожидания Анна Арсеньевна несколько поутратила былую уверенность, заразилась от мужа нервностью, даже стала чуточку суеверной. С нетерпением дожидалась она поры, когда в узком просвете между домами перед их окошком появится полная луна, чтобы подставить ей свой набухавший живот, – теперь ей тоже хотелось непременно девочку. Впрочем, она не сомневалась, она чувствовала, что так оно и будет. В ней развилось необычное чутье, она различала насквозь все плодоносящее, всякую завязь и полноту. «Неужели ты не видишь?» – приводила она в смущение мужа, заставляя его уступить место в трамвае совсем еще стройненькой девочке. Да и сама девочка смущалась – ни разу Анна Арсеньевна не ошиблась. Было начало лета, она смотрела на отцветавшие вишни, трогала пальцами белые цветы и, чуть отколупнув, заглядывала внутрь, туда, где на цветоножке начиналась толстенькая зеленая завязь, – смотрела и тихо улыбалась; иные цветы были пусты, их красноватые черенки покрывали перекопанную густо-коричневую землю, она улыбалась с чувством жалости к этим неоплодотворенным цветам и стыда за свое счастливое превосходство. Но и оплодотворенные цветы постепенно жухли и отпадали – сначала с вишен, затем с яблонь, оставляя после себя почти незаметный точечный след, черное пятнышко на будущем яблоке, на противоположном конце от стебля-пуповины – черную точку вместо белого прекрасного цветка, – отпадали, умудряя Анну Арсеньевну грустной мыслью о судьбе родителей в детях. Были среди плодов и такие, что начинали завязь, вырастали до размеров вишневой косточки, потом вдруг тоже теряли силу и усыхали зелеными; тогда вновь вспоминалась тревога и нервность...

Самой Анне Арсеньевне еще долго не уступали места в трамвае, особенно если она была в пальто. Однажды они с Прохором целовались на скамейке в сквере и, поднявшись, увидели, как озадаченно приоткрыла рот косившаяся на них тетушка. «Современная молодежь, – прокомментировал за нее Меньшутин, – пять минут поцеловались на скамейке – и уже с животиком...» Это был тот самый день, когда Анна Арсеньевна увидела перед выходом из сквера черную кошку, она пролезла сквозь низкую решетку и перебежала к противоположному газону. Анна Арсеньевна невольно замедлила шаг и придержала за локоть мужа – сама посмеиваясь над своим трусливым суеверием. Оглянувшись, она увидела за собой студента в очках, он читал на ходу учебник. «Пусть обгоняет, – подумала Анна Арсеньевна. – В худшем случае получит переэкзаменовку, невелика беда». Тем более что кошка бежала справа – для мужчины это сводило опасность приметы до минимума. Студент шел медленно; оглянувшись еще раз, она увидела, что их обоих нагоняет мальчишка, держалкой из гнутой проволоки он вел визжащий ржавый обруч. До мысленной линии – следа кошки – оставалось уже несколько шагов; Анна Арсеньевна, вдруг застыдившись сама себя (и лицо тотчас

вспыхнуло), поскорей потянула углубленного в свои мысли мужа к этой черте – сама продолжая оглядываться на мальчика и все посмеиваясь над этим глупым соревнованием; она не заметила резвой девчушки лет пяти, которая все вырывалась из рук бабушки, сидевшей на скамейке, наконец вырвалась и с разбегу ткнулась головой в живот Анны Арсеньевны. Это было не так уж больно, однако сердце Анны Арсеньевны захолонуло от страха. Она сумела улыбнуться и погладить девочку по головке. «А если б мы с тобой были паровозы?» – мягко сказала она. Тут беглянку настигла бабушка, засуетилась: «Негодница, вот скажу тете с дядей, они тебя возьмут». – «Зачем? – не поддержала ее воспитательного обмана Анна Арсеньевна. – У нас скоро своя будет». (Потом в больнице сказали, что была действительно девочка.)

До вечера она прислушивалась к себе: все было нормально; и даже почувствовав себя к вечеру плохо, долго боялась признаться в этом. Прохор Ильич отвез ее в больницу слишком поздно. Впрочем, это все равно уже ничего бы не изменило...

Несчастье Анна Арсеньевна перенесла стойко, только из характера ее исчезла бывшая легкость, да и здоровье долго не выправлялось. Прохор Ильич трогательно ее утешал: «Постараемся еще разок, верно?» Они любили друг друга теперь, быть может, сильнее, чем прежде; бедная Луначик, внезапно подобревшая к ним после несчастья, уравнившего их, встречала их по утрам выжидательным взглядом, как бы спрашивая: «Ну что, все в порядке?» Но был в этом уже привкус надрыва. Оба извели себя, пока не получили подтверждения, что ждать им нечего.

Почти через три года после случившегося они взяли себе приемную дочь. И сразу же вслед за этим оставили свой город, работу и жилье, чтобы переселиться в места, где никто и никогда не мог бы сказать ни девочке, ни им самим, что дочь у них неродная.

2

Так у них было условлено с самого начала, но Анна Арсеньевна думала, что они переселятся в такой же областной центр с театром, с филармонией, с эстрадой, – Прохор Ильич имел приглашения. Он поехал куда-то выяснять условия, а вернувшись, огорошил ее известием, что нашел место директора Дома культуры в никому не известном крохотном райцентре, от самого названия которого – Нечайск – веяло замшелой провинциальностью, пыльными улицами, гераньками на окошках и колесным скрипом... Так, значит, все эти туманные, осторожные разговоры, необязательные фантазии, от которых она старалась его отвлечь – и казалось, совсем уже отвлекла, – все это было для него всерьез, а теперь оборачивалось всерьез и для нее? – думала Анна Арсеньевна, слушая его виноватые объяснения.

– Тебе там тоже найдется работа, – говорил он. – Будешь преподавателем или даже директором музыкальной школы. Ты ведь раньше преподавала, и, по-моему, тебе это нравилось больше, чем концерты. Аннушка, будем откровенны: тренькать до пенсии на балалайке без балалайки – не предел моих мечтаний. Если захочешь, я буду исполнять эти номера каждый вечер лично для тебя. Или даже научусь играть на настоящей балалайке. Хотя для меня это еще менее интересно. Надо однажды вырваться, это не так страшно, как кажется. Страшнее инерция...

Значит, так оно и есть, думала Анна Арсеньевна. Значит, ее не обманывало чувство, что Прохор тяготится своим положением, – но она словно ждала еще окончательного доказательства. «А что же предел твоих мечтаний?» – хотела она спросить, но не стала – пожалела лишний раз язвить, да и ответил бы он каким-нибудь расплывчатым философствованием – то ли не желая до поры выдать слишком сокровенный замысел, то ли сам смутно его представляя...

– Это удивительный городок, – говорил он между тем шепотом, потому что рядом, в уголке за платяным шкафом, спала Заира; они еще не успели привыкнуть к звуку ее дыхания, и шепот их был преувеличенно осторожен. – Ты увидишь. Лес, тишина, игрушечный монастырь над озером. Декорация для сказочного спектакля... Конечно, денег у нас будет поменьше. Зато и жизнь там несравненно дешевле. У всех свои овощи, свое молоко. Мы тоже можем завести корову.

– Боже, о чем ты говоришь! – всплеснула своими прекрасными руками Анна Арсеньевна.

– А что, я всю жизнь мечтал иметь свою корову. Нежнейшее воспоминание детства: теленок лижет щеку... И главное, Аннушка: вместо коммунальной квартиры – дом, целый собственный дом с участком, и никаких землетрясений, никаких соседей за стеной. Совсем за бесценок, я уже сговорился. На самом краю города, у леса. Прямо за забором начинаются сосны, шишки падают в огород, ими можно растапливать самовар.

– Но у нас нет самовара.

– Будет, это уж непременно будет! Ты пила ли когда-нибудь чай из самовара, поставленного сосновыми шишками, бледная ты моя горожанка?

– Пила, – усмехнулась Анна Арсеньевна. – На даче.

– На даче! А тут – в любое время. Ты поправишь там свое здоровье. Там воздух пахнет витамином «С», а когда проходит дождь, он успеваает так пропитаться этим ароматом, что воду можно пить как целебный настой. Подумай, наконец, как хорошо там будет девочке...

Когда он говорил так, ухитряясь даже в шепоте сохранить убеждающую бархатистость, говорил, глядя на нее своими глубокими, с влажной поволокой, глазами, Анна Арсеньевна готова была поверить, что он и впрямь успел овладеть искусством гипноза.

И еще – потом, когда все было решено и она ударилась в спешные хлопоты, – ее поразила вдруг мысль, что при всей своей видимой разбросанности и уступчивости он в конечном счете всегда добивался своего – как будто настолько не сомневался в этом своем, что его не заботило, какими путями, в какие сроки и с какими подробностями оно осуществится. Анна Арсеньевна так и замерла от этой мысли перед грудой разнокалиберных кастрюлек, которые она как раз пыталась покомпактней разместить одну в другой; потом усмехнулась и качнула головой. Может быть, может быть. Он умел подтолкнуть события как бы ненароком; Анна Арсеньевна ловила его на совершенном мальчишестве: ему нравилось кашлянуть на концерте в самый проникновенный момент тихого скрипичного соло, чтобы вызвать во всем зале неизбежную эпидемию ответного кашля. Поди пойми его. Ей вспомнилось, как в какой-то момент разговора в черной глубине его зрачков зажглись два точечных желтоватых фонарика... Может, и впрямь вела его какая-то мысль, какая-то идея; мужчинам всегда надо нанизать жизнь на какую-то идею, они не могут – просто жить... А может, он своим решением всего лишь пытался смягчить, оттянуть признание собственной несостоятельности?... Снова она ни в чем не была уверена. Но тут же – стоя с двумя эмалированными кастрюльками в руках – она поняла вдруг еще и иное: что для нее это уже не имеет прежнего значения, для нее теперь было не так уж важно, где жить и чем заниматься; смысл жизни переместился ближе, все самое главное было – и будет отныне – рядом, там, где тихо играла кубиками маленькая смуглая девочка с темными кудряшками; к измазанной щеке ее прилипло коричневое яблочное семечко, сосредоточенное сопение было сладко слуху и вызывало во всем теле теплый прилив нежности.

И все-таки, сидя с Заирой на руках в кабине дребезжащей полуторки, Анна Арсеньевна испытывала щемящую тревогу; она словно предчувствовала, что едет сюда насовсем, – хотя бы потому, что у нее уже не останется духу выдержать обратный путь – по ухабам, как по мор-

ским волнам, только вместо податливой воды – жесткая твердь, которая подбрасывает, перетряхивает мысли; едва сложившиеся в уме фразы распадаются на мелкие обрывки, соединяются невпопад – начало одной с концом другой, – образуя в голове сумбур, так что ни о чем нельзя связно думать и какая-то мутная тяжесть никак не осядет в душе. Они ехали от станции три часа по тракту, мощенному в прошлом веке, – пятьдесят два километра сквозь оплывающий сентябрьский лес, мимо просек-гатей, ведущих к лесозаготовкам, поднимая за собой непроглядную завесу пыли, ныряя едва ли не вниз радиатором в выбоины, заполненные водой. Машина при каждом ухабе начинала было разваливаться, но следующий ухаб вновь прижимал ее части друг к другу, и не было уверенности, что очередной толчок не рассыплет ее окончательно. Прохор Ильич мотался в кузове, придерживая вещи и сам держась за них. Наконец из-за горба дороги показался первый дом – так встречный корабль появляется из-за горизонта, подтверждая факт шарообразности Земли: сначала труба, из которой, несмотря на жаркий день бабьего лета, шел дым, потом конек крыши, за ним окна в сказочных резных наличниках и решетчатый палисадник. У въезда в город стоял зачем-то красно-белый шлагбаум; уса́тый инвалид неторопливо поднял его и сразу, едва не цапнув задний борт, опустил – точно боялся, что они выскользнут обратно; несмазанный механизм позвериному взвизгнул, и звук этот, отсекавший путь назад, заставил Анну Арсеньевну зябко поежиться.

Это был тихий зеленый городок, узко вытянувшийся вдоль озера. На высоком берегу стоял бывший монастырь с двумя покалеченными церквушками, от его кирпичной ограды, за Базарной площадью, начиналась центральная улица с главными городскими учреждениями и магазинами; здесь всегда прогуливались в надежде на подачку самостоятельные непугливые собаки – словно полноправные пешеходы со своими заботами, только иной породы, чем люди. Дальше от центра дома мельчали, вдоль заборов тянулись пружинистые деревянные мостки. Крайние улицы вовсе поросли травой, по ним ходили стайками куры и гуси, меченные анилиновыми красками, по вечерам возвращалось с лесных выпасов стадо, а ночью без надобности постукивал колотушкой невидимый сторож.

Дом, где поселились Меньшутины, не только стоял на краю леса – лес уже перешагнул за изгородь; одичалые вишни и сливы стояли посреди березовой и ольховой поросли, а между стволами возвышались укрытые травой холмики некогда высоких ровных грядок. Хозяева давно здесь не жили; Меньшутин был едва ли не первым, кто за последние годы переезжал в Нечайск, обычно отсюда уезжали, ибо жизнь здесь конечно же не была такой простой, как он расписывал издали. Промышленности тут было – небольшой крахмальный заводик; кормились больше со своих участков да от озера. Городок существовал скромно, обслуживая в качестве районной столицы окрестные деревни, ничего особенного не требуя от окружающего мира и ничего особенного ему не предлагая.

Прохор Ильич первое время с азартом принялся хлопотать по дому, доставал дрова на зиму, обзаводился недостающими и необходимыми здесь вещами вроде лопаты, пилы и сапог, приводил в порядок обветшалый забор и сарайчик, причем руки его оказались ловки и к топору, и к прочему инструменту, словно он лишь вспоминал давнюю свою сноровку. Но постепенно все больше дел переходило к Анне Арсеньевне; энтузиазм Меньшутина переключался на дворец – так он неизменно величал свой Дом культуры. Даже не Дворец культуры – просто: дворец. Иду во дворец, говорил он и в телефонную трубку отвечал с достоинством: дворец слушает. Дворец располагался в большей из двух монастырских церквей – весьма безвкусном строении начала века, в новорусском стиле, с кирпичным орнаментом на манер вышивки крестиком. Центральный купол церкви был снесен и основательно залатан жостью, зато сохранилась пара несимметричных шатров, один с луковицей, другой без. Как

ни странно, в таком виде церковь приобрела своеобразное очарование, во всяком случае, Анна Арсеньевна согласилась увидеть в ее угловатой кривобокости что-то фантастическое, хотя и мало напоминавшее дворец – разве что вечером, когда не видно было залатанной прорехи и снизу, из городского парка над озером, колющий силуэт ее рядом с островерхой колоколенкой казался высоко поднятым на фоне перламутровых закатных облаков.

Первые хлопоты Меньшутина были о ремонте, но, когда ему отказали в средствах, он, по обыкновению, стушевался (над головой пока, слава богу, не капало) и весь пыл обратил на организацию самодеятельности. Уже к Новому году его драмкружок представил два чеховских водевиля, и они настолько понравились, что на втором представлении в большом зале впервые не хватило стульев для зрителей; до весны многие посмотрели спектакль трижды и четырежды. Прохор Ильич пережил успех рассеянно, воодушевленный уже дальнейшими планами. Одним из них была постановка «Золушки» – в настоящих костюмах и декорациях; но этот замысел требовал времени, и Меньшутин пока начал подготовку другой своей давнишней идеи. Он вывесил объявление о лекции «Народные праздники, обряды и зрелища» (с подзаголовком в скобках: «Старое и новое»). На лекцию было приглашено районное начальство. Выступал Прохор Ильич безо всякого конспекта, часов перед собой не держал и конечно же с самого начала увлекся вступительной частью: рассказом о древних праздниках плодородия с их безоглядным разгулом – ибо обжорство, разнузданность и сквернословие считались залогом будущего урожая, об элевсинских мистериях, где каждый раз заново переживалась и разыгрывалась история похищения Керы Плутоном, – словом, о том, что уже раньше приходилось слышать Анне Арсеньевне. Собственная речь все больше захватывала его, ему казалась примечательной любая подробность, и, упомянув, к примеру, о культе Диониса, бога творческих сил природы, он уже не мог удержаться и не нарисовать перед слушателями наглядную картину восторженно-яростных ночных радений при свете факелов, когда под звуки флейт и тимпанов одетая в звериные шкуры, с рогами на головах свита Диониса доводила себя до исступления, разрывала на части жертвенного козла и потрясала корзинкой с новорожденным фаллом – символом желанного плодородия... Дойдя до этого места, Меньшутин взглянул наконец на часы и обнаружил, что использовал уже большую половину отведенного ему времени (после лекции был обещан бесплатный фильм). Тогда совсем скороговоркой он проскакал по средневековым карнавалам и русской языческой масленице, упомянул гоголевских парубков, исполняющих в майскую ночь насмешливые песни у хаты головы, однако избыток эрудиции и здесь заставил его отвлечься, углубиться бог знает в какие ассоциации, так что главный, заключительный его призыв – возобновить на современном уровне праздничные традиции – прозвучал уже и вовсе под шумок, на излете, как у человека, которому надо завершить длинную фразу на одном оставшемся выдохе...

Подробности ему пришлось объяснять на другой день в кабинете районного секретаря Колесникова. Это был худой усталый человек в армейском кителе, по горло занятый хлопотами с надвигавшейся посевной; отвлекаться на всякие заскоки ему было сейчас куда как некогда, однако в речах завклубом, которого он в общем-то готов был уважать как культурного человека и которого считал удачным приобретением района, особенно после постановки спектакля, ему почудилась не совсем ясная, но все же сомнительность; на всякий случай Колесников обязан был дать ему понять, что здесь тоже люди грамотные. Он говорил с медлительной четкостью, отмечая абзацы своего рассуждения постукиванием спичечного коробка по столу, и от этой четкости собственная мысль казалась ему все более несомненной, а подозрения – все более оправданными. Прежде всего, сказал он, что это за неприличные слова на лекции, где присутствовали, между прочим, и подростки-школьники? Тот факт, что назывались эти слова на древнегреческом языке, мало что меняет, – у нас, когда надо, все умеют перевести. Более чем неуместным счел он также сочувственное упоминание пьянства

и сквернословия, которого в Нечайском районе, слава богу, хватает и без лекций; о возрождении каких традиций, спросил он, идет тут речь? Да и в разговорах о старинном обжорстве прозвучала, мягко скажем, безответственность. Наконец, не совсем понятной показалась ему идея насчет песенок под окнами; возможно, где-то и бытовала такая форма самокритики, но в здешних местах на этот счет опять же свои традиции... Словом, впредь Меньшутину было предложено тексты своих выступлений предварительно согласовывать.

Прохор Ильич во время этого собеседования сидел взъерошенный, беспокойный, уголки нервного рта опущены вниз, он то и дело согласно кивал головой и, не замечая, вертел в пальцах папиросу «Беломор», которой угостил его Колесников и которую он так и не закурил. Папироса сама собой выделявала чудеса: вдруг выныривала из пустой ладони, потом исчезала, растворялась в воздухе и вновь медленно приподнималась, как из-за ширмы, над указательным пальцем. Собеседник его заметил наконец эти произвольные фокусы и, заинтересованный, на секунду приостановил свою речь. Напор голоса и мысли был утерян, секретарь вроде бы вдруг забыл, чем собирался кончить.

— А насчет какого-нибудь мероприятия, — сказал он почти наугад, — это можно. Пожалуйста. Если, конечно, как следует организовать. Чтоб не было никаких этих... — Он неизвестно зачем подмигнул и покрутил поднятым вверх пальцем, точно ввинчивал в воздух невидимый шуруп.

Меньшутин ходил эти дни особенно быстро, почти подпрыгивая на здоровой ноге, — готовил городской праздник. Осуществился он Первого мая, после обычного митинга, в парке, скромно украшенном бумажными фонариками и флажками. Неразборчивый от громкости репродуктор играл бодрую музыку. На помосте при танцевальной площадке, перед щитом с диаграммами районных достижений, были вручены почетные грамоты передовикам крахмального завода, потом здесь же начались танцы под баян и радиолу с завершающим конкурсом на лучшее исполнение русской пляски. Подготовленные Меньшутиным затейники, стесняясь, устраивали соревнования по бегу в мешках и по накидыванию обручей на палки. Некоторая суматошность и сбивчивость этого гуляния объяснялась не только усердием специально открытого буфета, но во многом необдуманном энтузиазмом самого Меньшутина. Он, например, разыскал зачем-то двух любителей канареек и убедил их устроить в парке состязание-концерт; естественно, птицы отказались петь в непривычном месте, дав зрителям повод для неуместного веселья. По сценарию предусматривался особенно эффектный финал праздника: водная феерия с иллюминацией и фейерверком на плоту, с появлением Нептуна и групповым нырянием в озеро; здесь, однако, Прохор Ильич не учел климата — с озера еще не сошел лед. Меньшутин переживал ужасно, обращался к начальству с просьбой хоть как-то взорвать или растопить небольшой участок, на что ему резонно посоветовали наконец не терять чувства реальности. Лед лишил эффекта и другую его задумку — состязание рыбаков; оно все же состоялось, но в мелкой протоке, где приходилось довольствоваться пескарями, которых было как-то неловко сравнивать. Правда, рыбная ловля подарила сюрприз, достойный стать украшением праздника: на хвосте одного из пескарей было обнаружено латунное кольцо с цифрой 2954 и с надписью иностранными буквами CAPEEBON, которую случившийся тут же учитель английского языка с изумлением прочел как Кэйп Эбон, то есть Черный, или Эбеновый, Мыс. Где находился этот мыс или полуостров, никто сразу сказать не мог — вероятно, в Африке, но в любом случае невозможно было объяснить, как кольцо попало в Нечайское озеро, связанное, правда, через систему проток, речек и других озер с бассейном Волги, — но ведь и сама Волга впадала, как известно, не более чем в Каспийское море, то есть опять же озеро, ни с одним океаном не связанное. Общее возбуждение несколько охладила бухгалтер райфо Бидюк — советом показать английскую надпись в кой-какие областные инстанции. Словом, кольцо — на всякий случай вместе

с пескарем – передали случившемуся в Нечайске корреспонденту областной газеты, благодаря присутствию которого неуверенное и, так сказать, пробное мероприятие Меньшутина произвело эффект неожиданный. Правда, с надписью на латунном кольце вышла неувязка; неискушенный в английском языке журналист ненароком прочел ее по-русски: САРЕЕВО – так называлась деревня на дальнем противоположном берегу озера; буква же, которую учитель принял за английское N, вполне могла означать «номер» перед последующей цифрой. Что означала цифра и какой энтузиаст в Сарееве надевал на пескарные хвосты самодельные кольца, надо было еще разобраться; корреспондент пока не стал ломать над этим голову. Честолюбивый и хваткий юноша, недавний выпускник журналистского факультета, сообразил, однако, что может сделать из городского гуляния не просто репортаж с фотографиями для своей газеты, но при умелой подаче – даже информацию для прессы московской. Информация была вскоре напечатана под заголовком «Возрождение традиций» и вызвала естественное удовольствие как местного, так и областного начальства. Меньшутин получил долгожданные средства на ремонт и вдобавок на новую штатную единицу, а в один прекрасный день к нему заявила делегация из соседнего района перенимать опыт... Жизнь его, как это уже бывало, неслась в совершенно неожиданном завихрении, а он лишь улыбался рассеянно – словно не замечая, что выходит карикатура, путаница, какой-то шум в ушах, не замечая или забыв, что мыслил себе совсем иное; единственный же, кто мог ему об этом напомнить, Анна Арсеньевна, предоставила на этот раз мужа своей заботе.

3

Силы и время ее были теперь отданы дочери и дому. Музыкальная школа оказалась пока фантазией, вернее, проектом Прохора Ильича: для нее не существовало ни помещения, ни средств; единственный казенный инструмент, дворцовое пианино, был порчен молью, и в педальной стойке его обитала пятнистая кошка Марта, ежегодно обновлявшая здесь выводок котят. К счастью, собственный инструмент Меньшутиных выдержал дорогу отменно, и Анна Арсеньевна смогла объявить частные уроки. К ней пришло трое учеников: две девочки и один мальчик. Оставшееся от занятий время забирали домашние хлопоты. Дом был непривычно велик; мебель, которая громоздко заполняла когда-то их вибрирующую комнатушку, на новом месте уменьшилась в размерах, затерялась по далеким углам – как в перевернутом бинокле; остальное пространство составляли бескрайние полы, и надо было их мыть, да еще топить печь, носить воду из колонки, стирать уже на троих, готовить обеды, без которых они с мужем когда-то обходились; с непривычки это было трудно, а главное, здоровье у Анны Арсеньевны было не прежнее. Но все бы ничего; единственное, о чем она иной раз горевала, – это о своих пальцах, все более красневших, отекавших и трескавшихся. Поэтому она обрадовалась помощи, которую неожиданно предложила соседка тетя Паша.

Это была массивная круглолицая женщина непонятного возраста; движения ее были плавны и легки, как у молодой, зато рот – совсем старушечий, беззубый, в разговоре тетя Паша прикрывала его пальцами, отчего выражение ее лица с маслянистыми узкими глазками имело всегда оттенок несколько плутоватый. Появилась она в доме неожиданно. Анна Арсеньевна, проводив после урока учеников и уложив спать дочь, сидела за пианино и играла самый трудный для себя и самый любимый одиннадцатый этюд Шопена. За годы работы ей редко выпадало играть для себя, теперь она любила перебирать запас потрепанных нот времен своей учебы и играла как умела, не стесняясь сбивов и погрешностей в технике. Пчелиное жужжание у самого уха отвлекло ее; она не сразу догадалась удивиться, откуда возникла пчела в такое позднее время осени; оглянулась и вздрогнула: в дверном проеме, почти закрывая его, стояла, прислонясь к косяку, женщина в желто-коричневом – цвета ржаного медового пряника – платье с черным передником. Анна Арсеньевна тут же узнала соседку

и с облегчением вздохнула. Смутила ее лишь бесшумность этого появления да собственная рассеянность: ей казалось, что после учеников она заперла дверь на крючок. Тетя Паша, однако, повела себя на удивление непринужденно.

– Играй, играй, милая, – разрешила она хрипловатым голосом; правое веко у нее при этом дернулось, будто она хитро подмигивала. – Начала, так играй, чего уж...

Хоть разговаривали они впервые в жизни, можно было подумать, что тетя Паша вернулась сюда после недолгого отсутствия завершить прерванную на полуслове беседу – об одном из своих ульев, где нынче осенью остались в живых трутни, из чего следовало, что матка состарилась и ее пора было заменить новой... Едва отслонившись от дверного косяка, она двинулась по комнате – удивительно плавно и ловко для своей монументальной фигуры, не прерывая разговора и наводя по пути порядок: там подправит край одеяла, здесь смахнет передником пыль, с бесцеремонным любопытством приоткроет дверцу шкафа – хлопотливая, легкая, бесшумная. Казалось, она не способна стоять на месте: стоит ей замедлить движение – и она не удержится на ногах, наклонится, как остановившийся велосипедист. Анна Арсеньевна, честно сказать, и не поняла, как случилось, что они вместе принялись убирать вверх ножками стулья, приготавливая комнату для мытья полов. Домашняя женская работа была для тети Паши естественным незаметным состоянием. Жила она одиноко, собственный дом ее был пустой и не поглощал всей ее хлопотливой энергии. Она получала пенсию за погибшего мужа, носила на базар мед, малиновое варенье, сушеные и соленые грибы, причем продавала все бестолково, по дешевке, и уверяла, что ходит туда больше ради удовольствия поговорить с людьми. Анне Арсеньевне она тоже любила принести то медку, то грибок, деньги всякий раз принимала с отговорками или вовсе отказывалась, заставляя хозяйку краснеть и придумывать ответный подарок. От работы Анна Арсеньевна вдруг оказалась почти отстранена, тетя Паша просила ее лучше сесть за пианино и потом, остановившись со щеткой в руках или разогнувшись над стиральным корытом, с приложенными к губам мокрыми пальцами, покачивала головой – любовалась: «Ах, красавица!» Прохор Ильич, посмеиваясь, уверял, что старуха просто в нее влюбилась; в ее манере обращаться с Анной Арсеньевной и впрямь было что-то от властности влюбленного, который не терпит возражений в своем желании служить.

– Ты ее приворожила, – говорил он со смешком. – Это, если хочешь знать, здешняя ведьма, колдунья на пенсии, и власть над ней дает строчка из одиннадцатого этюда Шопена. Серьезно, вспомни, как она перед тобой возникла. Играй, говорит, играй, чего уж теперь.

Шутка ему самому понравилась, он не раз ее потом вспоминал. Анна Арсеньевна возражала, что если кто и притягивает к себе странных причудливых людей, так это он, они его чувствуют на расстоянии. Ее, признаться, что-то смущало в тете Паше – может, это вечное, будто с каким-то хитрым намеком, подмигивание; поговаривали, что у нее дурной глаз, что она похоронила трех мужей, причем один из них умер от пчелиного укуса в язык; за ней ходила неясная слава бывшей свахи и даже просто сводни.

В другие дома ее не очень-то пускали. Анна Арсеньевна испытывала необъяснимое беспокойство, когда эта громоздкая, величественно-суетливая женщина приближалась к Заире (которую называла, кстати, всегда по-своему: Зоюшка), чтобы погладить ее по голове толстыми коричневыми пальцами. «А на отца-то как похожа!» – приговаривала она; в улыбке у нее открывались два последних целых клыка, торчащих снизу, а глаза превращались в узкие щелочки... Но своих неблагоприятных сомнений Анна Арсеньевна сама стыдилась; постепенно она привыкла к старухе, ее пчелиная простота и легкомысленная невозмутимость действовали заразительно – возможно, чем-то совпав с собственным настроением. Ей нравился исходивший от тети Паши сложный запах меда, сухих грибов, разогретого малиника и крапивы; запах этот привлекал и беспокоил пчел, они постоянно жужжали вокруг тети-Пашиной головы, точно хотели сообщить ей что-то на ухо, и временами она в задум-

чивости замирала, приложив к губам пальцы, покачивала головой, будто в самом деле услышала нечто забавное.

Прежняя жизнь, сухой легкий жар освещенной сцены, звук грохочущего трамвая, электрическая вечерняя зелень вспоминались год от году все слабее, и, к удивлению Анны Арсеньевны, воспоминания эти ничуть ее не волновали. Она не печалилась даже об оставленной работе аккомпаниатора, которую, казалось, любила; ей достаточно было возможности играть для себя, и она поняла, что всегда играла прежде всего ради удовольствия играть, без тоски по какому-то необычайному совершенству. В кино она теперь не ходила, чтоб не оставлять дочку одну, – и об этом тоже не жалела; зато удавалось больше прежнего читать. Вечерами она дожидалась мужа; за окном шебуршал ветер, от печки пахло теплой глиной и березовым дымом, за стеной беспокойно ворочалась девочка; она часто болела, и мысль о ее хрупкости, о ее беспомощной зависимости вызывала такой прилив жалости и беспокойства, такую нежность, какую Анна Арсеньевна лишь подозревала в себе, когда ходила беременная и гладила по головкам чужих детей.

Хотя со временем число учеников у нее удвоилось, денег не хватало; Анна Арсеньевна уже раз-другой выносила на базар тонкие туфли-лодочки из белой замши и белое концертное платье со сборчатыми манжетами; но туфли ее могли прийтись по ноге лишь девочке-подростку, длинное платье без плечиков тоже вряд ли могло понадобиться кому-нибудь в Нечайске, и Анна Арсеньевна с облегчением – и к удовольствию мужа – приносила свои вещи непроданными домой. Они жили беднее многих в городе, только не замечали этого; кроме денежного заработка, у них не было никакого подспорья. Коровы они, разумеется, не завели, самовара не купили, участок их все основательней зарастал лесом; осенью во дворе пахло грибами, к забору неторопливо подходили горбатые лоси, задумчиво жевали кору молодых осин, оставляя на стволах влагу своей слюны. Тишина здесь промывала уши и все существо, как легкая холодная вода, и прозрачной острой льдинкой всплывал в ней по утрам чистый крик петуха.

Получив новую штатную единицу, Прохор Ильич предложил жене возглавить во дворце музыкальный или хоровой кружок. Та подумала и отказалась: имело больше смысла вести занятия дома. Меньшутин, честно говоря, на это и рассчитывал, у него была уже на уме другая идея, возникшая после одной встречи на местном базаре. Он любил побродить здесь в воскресенье – просто так; делать покупки ему не доверялось: он чересчур увлекался азартным русским базарным обрядом, распаляя спором о цене и товаре даже самых миролюбивых мужиков, а в результате сгоряча мог купить вещь вовсе и не нужную. Вот здесь-то, в стороне от возов с сеном и мешков с картофелем, от поросычьего визга и гусяного гогота, в углу, где располагались приезжие кустари с игрушками и расписными деревянными ложками, старики с корзинами из очищенной и неочищенной лозы, бондари с ушатами, бочками и бочоночками (которые Меньшутин, проходя, с удовольствием поглаживал по свежим сливочным бокам), он увидел однажды человека, продававшего искусственные цветы. Никогда прежде ему не приходилось видеть цветов такой выделки. Розы, тюльпаны, гвоздики, гладиолусы разве что не пахли, в вощеных лепестках подрагивали бисеринки росы, стебли из мягкой проволоки, облитой зеленым воском, казались живыми, особенными для каждого сорта – не взяв в руки, не отличишь от настоящих, а у роз были даже шипы. Эти шипы особенно покорили Меньшутину, он вдруг проникся к приезжему неодолимой симпатией. Это был неразговорчивый человек в армейской фуражке с малиновым околышем и чистом синем ватнике. У него было сухошавое лицо с короткими седыми усиками и длинные пальцы виолончелиста. Цветы он продавал недорого, но не унижался до споров о цене, что многим казалось обидно; сидел на деревянном чемодане, презрительно глядя в сторону; казалось,

его сердит сама необходимость продавать свои произведения людям, неспособным отличить их от поделок из гофрированной бумаги. Прохор Ильич вывернул карманы, отдал, не глядя, все, что в них было, и, получив взамен три светлые розы, смягчил неразговорчивость мастера искренностью своего восхищения. Не обращая внимания на подходящих покупателей, они долго обсуждали возможность придания цветам еще и натурального запаха, а к следующему базару старик привез специально Меньшутину лучшие свои изделия – не для продажи. Это были алые, нежно обугленные в глубине маки на волосатых шершавых стеблях, с лепестками, которые облетали на третий день, оставляя зеленую коробочку с сухо шуршащими семенами внутри, и тончайшей выработки одуванчики. Бесполезность этого изощренного искусства, вступившего в состязание с природой, тронула Прохора Ильича. Существование таких достойных изделий, как ушаты и бочонки, было оправдано внешней потребностью; здесь же человек возвышался над первоначально-полезным в причудливой бескорыстной игре – может, в этом и была своя высокая польза? – так убеждал он Анну Арсеньевну, которая искусственных цветов не любила и к самому слову «искусственный» относилась с неприязнью. «Не пригласишь ли ты его в свой дворец руководить кружком?» – неосторожно пошутила она, не подозревая, насколько всерьез он примет ее совет. Мастер с достоинством выслушал доводы Меньшутина о том, что продажа цветов на базаре все равно идет плохо, при дворце же у него будет небольшой, но твердый заработок, а главное – ученики, которым можно будет передать искусство. Ответ он обещал дать в следующий приезд: через неделю Меньшутин услышал отказ. Мастер объяснил, что при своем нелюдимом нраве он вряд ли сможет иметь дело с учениками, да и переселяться из насиженного жилья не стоит, главное же – он хочет свободно заниматься своим делом и сторонится всякой службы. Прохор Ильич надеялся его еще уговорить, но старик вдруг перестал появляться на базарах. Меньшутин прождал месяц, потом отдал ставку художнику-оформителю.

С него теперь ведь тоже требовали все новых мероприятий. Задуманную когда-то постановку «Золушки» приходилось откладывать с году на год: городское начальство просило Меньшутину давать что-нибудь более современное. Прохор Ильич ставил одну за другой пьесы с заглавиями «Большая судьба», «В маленьком городе» и что-то еще, он быстро забывал названия. Первоначальная суетливая порывистость его прошла, в движениях и взгляде появилась какая-то замедленность, будто он думал вовсе не о том, что говорил и делал в эту минуту. Нельзя сказать, чтоб деятельность его многое изменила; по-прежнему главной работой дворца были танцы и кино, изредка приезжали лекторы по международному положению или на моральные темы. Но при разбросанной натуре Меньшутина работа отнимала у него весь день. Дома он бывал мало, с дочкой занимался от случая к случаю и как будто удивился, обнаружив однажды, что она уже читает. «Смотри, она уже читает», – сказал он. Анна Арсеньевна удивилась еще больше: «Давно. Я тебе об этом говорила». – «Да, верно», – вспомнил Прохор Ильич и еще раз с интересом взглянул на худенькую девочку, головастую и большеротую, – точно лишь сейчас осознал наконец, как она выросла.

4

Она не просто выросла, но необычайно изменилась с годами: волосы высветлились, как бы выгорели на солнце, от младенческой курчавости не осталось и следа, глаза оказались не карие, а изжелта-зеленые, с большими зрачками и темным тонким обводом вокруг радужины, само лицо выглядело не столько смуглым, сколько загорелым, в нем не было теперь ничего восточного, что связывалось для Прохора Ильича с именем Заира. В один прекрасный день он обнаружил, что и само имя это постепенно вытеснилось другим, с легкой руки тети Паши все стали звать ее Зоя, Зоюшка; девочка сама признавала только это имя и поправляла отца, когда он оговаривался по-прежнему.

– Зоя? – осторожно примерил он новое имя на языке и внимательно взглянул на нее. – Зоюшка... Ну-ну...

Всякий раз, глядя на нее, он заново удивлялся, до чего она оказалась на него похожа, – насколько вообще может походить детское личико с нежной кожей и еще сглаженными чертами на лицо некрасивого сорокалетнего мужчины с искривленным носом и все выше лысеющим теменем. Тетя Паша со стороны заметила это куда раньше. Впрочем, дочка – чего ж тут было удивляться.

Присутствуя на музыкальных занятиях матери, Зоя обнаружила редкостную способность учиться «вприглядку», следя за чужой игрой: пальцы ее с подстриженными ноготками шевелились над коленками, как над невидимыми клавишами, повторяя движения игравшего, даже предупреждая их, и когда он допускал сбив, она не удивлялась – это был ее собственный сбив. Нот Зоя не учила; круглые, черные, похожие на букашек значки вызывали у нее необъяснимую неприязнь, которая обозначалась словом «грязь» – общим для самых разных вещей: зола из печки, чайники в стакане, клоп на стене – все это называлось «грязь» и было неприятно до подкатывающей тошноты. С возрастом словечко это ушло в разряд смешных младенческих нелепостей, но странные пристрастия и антипатии сохранялись стойко, они относились не только к вещам, но и к их названиям. Слова для нее могли иметь приятный или неприятный запах, быть солоноватыми или приторно-сладкими, они имели свой особенный цвет, форму, характер; одни были как клубы белого тумана или брызги молока, другие остро царапали или заставляли передергиваться, как прикосновение к скользкой холодной лягушке. Имя Заира вызывало у нее сопротивление из-за черного, кругленького, подпрыгивающего «р», с которым у нее не было ничего общего; но, конечно, объяснить этого она не умела, тем более что говорила плохо. Воспитанная при матери, в уединенных играх, она привыкла больше бормотать сама с собой и нередко смущалась звука собственного голоса; к тому же после частых простуд у нее остались увеличенными миндалины, выговор был слегка гундосый, невнятный – даже Анна Арсеньевна не всегда сразу понимала ее. Но стоило переспросить – Зоя тотчас замолкала, и от нее уже нельзя было добиться ни слова. Со стороны она производила впечатление вялой и ко многому равнодушной, но могла поразить вдруг необычайным упрямством; глаза ее под выпуклыми припухлыми веками казались сонливыми, и лишь внезапное словечко или вопрос выдавали своеобразную скрытую работу мысли.

Выучившись читать в четыре года, Зоя не увлекалась книгами и предпочитала рассказы вслух; она вообще не утруждала себя внешним напряжением. Однажды она попросила отца рассказать ей сказку. «Про кого же тебе рассказать?» – механически переспросил Прохор Ильич. – «Про себя». Он в ту минуту не сумел придумать ничего лучшего, как приписать себе приключение с джинном, выпущенным из бутылки, и лишь потом, из сетований жены, понял, как это было неосторожно. Теперь девочка желала, чтобы папа участвовал во всех сказках; вернее, это была одна бесконечная сказка, где Прохор Ильич скакал на сером волке, доставал живую и мертвую воду, сражался с драконом, ловил в реке говорящую щуку и расстилал скатерть-самобранку. Особого разнообразия ей не требовалось, она слушала одно и то же снова и снова – с той поразительной способностью переживать каждый раз насвежо все встречи и опасности, какая свойственна одним детям, – как будто в очередном пересказе все может обернуться по-иному, чем накануне. Анна Арсеньевна радовалась, замечая у девочки восхищенную нежность к отцу, но при этом побаивалась, что в ее сознании складывается образ несколько фантастический. Она вообще с тревогой думала иногда, что неумело воспитывает дочь, слишком потакает ее причудам, все ей позволяет: рыться в земле, возиться в лужах, так что руки у Зои всегда были в цыпках, а мордашка измазана; получалось, будто та

сама направляет свое воспитание, а она идет у нее на поводу. Тогда она пробовала отучить Зою от некоторых фантазий – например, доказать ей, что незачем каждый раз вылавливать из чая все до единой чайинки, ничего не будет страшного, если их и выпить. Через полчаса девочку вырвало, и она два дня пролежала в постели с признаками острого отравления. Беспокойство Анны Арсеньевны возрастало с приближением школы. Чтобы подготовить дочку к общению со сверстниками, она стала почаще выводить ее за калитку, к соседским детям. Против ожиданий Зоя легко, хоть и без интереса, подключилась к их играм. В ней не было деревенской диковатости и пугливости, наоборот, она даже слишком запросто подступала к любому, точно не подозревала о возможности недоброй или отчужденной встречи, о каких-то условностях; к взрослым она обращалась бесцеремонно, как к равным себе, и Анна Арсеньевна поняла главный свой воспитательный просчет: девочка совсем не ориентировалась в реальных отношениях. Она была не по возрасту простодушна и доверчива. Как-то один из мальчиков отобрал у нее майского жука, заявив, что все жуки в воздухе принадлежат ему, он лишь на время их выпустил, – и Зоя совершенно в это поверила. В другой раз она прибежала домой, возбужденная удивительным открытием: кто-то показал ей, что кроме полной круглой луны, которую все видели сейчас низко над деревьями, существовала еще одна, в овраге. Разубедить ее в таких случаях бывало непросто, окончательным авторитетом она признавала разве что отца. Но сам Прохор Ильич явно недооценивал весомости своих слов и действий, он подходил к своей воспитательной роли с недопустимым легкомыслием. Однажды Зоя зачем-то выпросила у матери кусок сахара и убежала с ним в сад; лишь к вечеру она согласилась объяснить родителям, что, если посадить сахар на грядке, из него, оказывается, вырастет сахарная свекла. Анна Арсеньевна только улыбнулась и повела ее спать. Но утром Зоя ворвалась к ней с ликующим криком и потащила за руку на участок; посреди вскопанной грядки там торчал невероятный кустик, увешанный кубиками зрелого рафинада. Прохор Ильич был уже во дворце; Анна Арсеньевна с трудом дождалась его прихода, и поздно вечером, когда Зоя уже спала, между ними состоялся очень серьезный разговор.

– Ты не отдаешь себе отчета в том, что делаешь, – говорила Анна Арсеньевна, возбужденно шагая по просторной комнате. – Я и так допустила ошибку, воспитывала девочку возле себя, рассказывала почти исключительно сказки. Она и так напичкана бесконечными фантазиями, и они значат для нее гораздо больше, чем мы с тобой думаем. Это надо как-то выправлять, а не подливать масла в огонь.

– Что ж тут плохого? – возражал Прохор Ильич. Он сидел за столом и заправлял огромную, размером с крупную сосиску, авторучку – в нее входил целый пузырек чернил; он вообще любил необычные вещи; у него были карманные часы размером и толщиной с серебряный рубль, зажигалка в виде маленького пистолета, вполне способного пугать прохожих, музыкальная кофемолка, для которой в Нечайске не было зерен, но которая при вращении ручки очень чисто играла начальные такты Героической симфонии. – Что ж тут плохого? – повторил он, рассеянно заворачивая крышку. – Она счастливая, если может так искренне жить в мире своего воображения.

– Жить в мире воображения! – Анна Арсеньевна остановилась среди комнаты, сложив руки на груди; румянец возбуждения на ее щеках пошел пятнами. – Все хорошо в меру. Она совершенно не ориентируется в жизни. Ее любой может обмануть, разыграть, забить голову вздором. Ты видишься с ней раз в неделю, и для тебя эти разговоры всего лишь забавны.

– Она же еще малышка. Пройдет. Житейский опыт – дело возраста.

– По тебе не скажешь, что возраст все меняет. Удивительно, как она смогла оказаться столь похожей на тебя.

– Моя дочь!

– Тем более есть о чем тревожиться. Уж ты-то знаешь, что простодушие может быть опасным. Тебе оно стоило ноги.

– Простодушие! – хмыкнул Прохор Ильич. – Ты все-таки мало ценишь меня, Аннушка. Жена вскинула на него быстрый взгляд.

– Что ты хочешь сказать?

– Я понимаю, ты мечтала видеть во мне актера и ошиблась в своих ожиданиях. Признаю и склоняю голову. Более того – расписываюсь. Но ты недооцениваешь во мне артиста, – Прохор Ильич значительно поднял перед собой авторучку-сосиску; тень от высокой лампы нарисовала над его шишковатым носом темные усики, придав всему несимметричному лицу какое-то клоунское выражение. – Вот это прискорбно.

– О господи, я серьезно, Проша.

– Я, может быть, тоже... Впрочем, и тут я не настаиваю. Серьезность для меня – штука сомнительная. Все принимать всерьез – повеситься можно.

Анна Арсеньевна еще раз прошлась по комнате. Почему-то ей самой захотелось теперь перевести разговор к шутке, но она не могла найти удачного слова.

– А... – неопределенно усмехнулась она. – Эта твоя нынешняя жизнь, беготня, хлопоты, которые занимают все твое время и ни во что окончательно не выливаются, – это все тоже спектакль?

– Ну, это пока репетиции, – прищурился он. – Этюды по системе Станиславского. Присматриваюсь, подбираю исполнителей, воспитываю статистов. Пусть привыкают к моему стилю. Нам с ними не один год работать... кто знает. Великие спектакли, Аннушка, требуют времени. Может, целой жизни. Я сам уточняю свою мысль, нащупываю: чего же я, собственно, хочу? Вон дочкино имя – и то само собой уточнилось. Если ты намекаешь на мою «Золушку», которая все откладывается, то ты не угадала. Отнюдь. Я работаю над ней, совершенствую. Она вырастает в моем мозгу во что-то все более значительное. Представь: разыграть действие на площади перед дворцом. Чтоб в танцах на балу участвовал весь город, чтоб в двенадцать на башне пробили часы и все, понимаешь, все заволновались: где же Золушка?

– Где ты возьмешь часы с боем?

– Ты тоже призываешь меня не терять чувства реальности? Найдем, если понадобится. Надо будет немного подновить дворец, подкрасить башенки, поставить золотых петушков. Я тут нашел художника, он мне уже сделал эскизы. Гениально! Я так ему и сказал: гениально! Пусть пока полежат. Я еще должен над этим думать... Э, знала бы ты, что творится у меня вот тут! – Меньшутин постукал себя пальцем по лбу. – А мелочи – дело техники. Ты слышала когда-нибудь анекдот о художнике, которому в только что нарисованном пейзаже показалось лишним одно деревце? Он пошел, срубил дерево и перерисовал пейзаж. Привел, так сказать, в соответствие. Это к разговору о чувстве реальности. Между прочим, подлинный факт.

– Мало ли сумасшедших!

– Э, что мы знаем о сумасшествии? – скривился Меньшутин. – Где оно начинается и какова его цена...

Анна Арсеньевна не ответила, лицо ее было задумчивым и как бы печальным. Да Прохор и не нуждался в ответе, он смотрел мимо нее, губы его были приоткрыты в неровной замершей улыбке.

– Неужели ты не можешь просто жить? – вдруг тихо произнесла она. – Со мной, с Зоюшкой?

– А! – Он взвился даже с каким-то воодушевлением, точно давно ожидал это услышать. – Просто! Аннушка, Аннушка, умная моя Аннушка, что значит: просто жить? Если каждый наш день зависит от того, как мы сами повернем его и увидим? Как я сегодня «просто жил»? Проснулся, поел гречневой каши с молоком, надел сапоги и потопал по мосткам, а где нет мостков – по грязи, в обшарпанную церковь, там проверял накладные на инструменты

для духового оркестра, выяснял, куда запропастились медные тарелки, потом ждал, пока соберется на репетицию драмкружок, так они и не собрались, оказалось, сегодня футбольная встреча с соседним районом. И все. Пошел домой есть суп с перловкой. Можно и так, можно... кому как удастся. Но неужели я зря прочел сотни умных книг? Неужели я не вправе увидеть каждый свой день, каждый момент своей жизни не сам по себе, а в переплетении со всем, что было продумано, сказано, открыто людьми за много веков? Когда, засомневавшись, я открываю в себе Гамлета, а за тарелкой гречневой каши осознаю нечто, роднящее меня с Пантагрюэлем? Давний вздор, будто культура обедняет чувства! Человек и отличается от скота вторичностью своей природы. Когда я могу сыграть свою жизнь... могу строить ее, как ласточка строит свое гнездо – скрепляя частицы обыденного сора живой слюной мысли, воображения. И если Зоюшке это дано в такой мере – почему не назвать ее счастливой?

– Ты такой умный, Проша, – серьезно произнесла Анна Арсеньевна. – Но я не о том. Просто жить – это радоваться простым вещам. По-своему, как умеешь. Вчера утром я попала под град, промокла, но было так хорошо. Вычесывала из волос ледяные зернышки – и мне было хорошо. Вот и все. Цыплята светились в траве, как солнечные зайчики. Зоюшка играла с котенком. С веток падали в лужу капли, он все пытался их поймать – так забавно...

– Не знаю, не знаю, – тяжело морщил лоб Меньшутин. – Все это я тоже читал – где-нибудь у Паустовского.

– Но вот тетя Паша не читала Паустовского...

– А! – вновь с готовностью и сарказмом подхватил он. – Вот еще появился жизненный образец, я так и знал!

– При чем тут образец? Мне просто нравится иногда... как у нее в волосах запутываются пчелы и она высвобождает их своими толстыми пальцами.

– Откуда ты знаешь, что эти насекомые нашептывают ей на ухо? Вдруг выяснится, что она живет в мире, куда более фантастическом, чем все мы, и мерит нас по пчелам – вряд ли в нашу пользу?

– Ты все шутишь.

– Не так уж шучу. Она и мухам покровительствует. Я видел, как она смотрела на парочку, которая сцепилась в воздухе и упала к ней на ладонь.

– Мне это тоже нравится.

– Не знаю, не знаю... – Прохор давно уже не смотрел на нее. – Было и это. Все на свете уже было. И наш разговор где-то был. Можно просто не сознавать этого и видеть в невинности преимущество. Кому как дано. Жить таким отросточком, верхушечным отросточком на необозримом стволе, и не замечать, что питаешься общими с ним соками, только разыгрываешь некую вариацию. Но мне, может, смиренности не хватает. Мне, может, скучно, тошно, неумогу ждать, пока моя история выявится сама собой, где-то к концу жизни, и я о ней лишь задним числом догадаюсь. Я, Прохор, я могу кое о чем сам позаботиться. Сравнение с отросточком не для всех верно, кое-кому дано одновременно быть садовником: там привить веточку, здесь подрезать. «Просто жизнь» груба, неотесана. Придать ей форму, смысл невероятно трудно, порой до ужаса. Но если через это пробьешься, тогда все оправданно. Тогда возникает нечто, достойное называться словом «искусство». Для этого себя не пожалеешь.

– А других пожалеешь? – тихо спросила Анна Арсеньевна.

Он резко повернулся к ней.

– Почему ты так сказала? – Голос его сорвался, стал сиплым, и ему пришлось сглотнуть слюну.

– Так... – Ее испугал внезапно страдальческий изгиб его большого рта. – Сама не знаю. Сорвалось.

– А почему сорвалось? – настаивал он. – Нет, ты уж ответь.

– Зачем ты так всерьез... обиделся? Это я вдруг, не подумав. Ты же знаешь, как мы с тобой умеем... для красного словца.

– Нет, нет, в том-то и дело, что не подумав, – требовал он с жаром. – Обмолвка – это подсознательно. Тут не обида, не бойся. Но все-таки скажи.

– Не знаю, Проща. Я не могу объяснить. Ты так говоришь, что я не всегда понимаю. Но у тебя было такое отсутствующее выражение глаз... я испугалась.

– А!

– Нет, господи... я опять не то сказала. Это не так. Я *за тебя* иногда боюсь.

– Почему?

– Не знаю, смогу ли объяснить, даже сама себе. Я иногда боюсь, что эти мудреные, отвлеченные слова о ножницах, искусстве и спектаклях могут вдруг обернуться чем-то очень реальным – и страшноватым. То, что ты называешь игрой, этюдами, репетицией, для людей жизнь. Да и для тебя тоже.

– Может быть, может быть, – проговорил он без улыбки и взглянул на нее из-под приподнятых бровей; высокий лоб его сошелся крупными изломанными складками. – А ты умница. Умница.

– Постой, я попробую сказать еще. В несерьезности, о которой ты говоришь, есть какое-то опасное высокомерие... неуважение к жизни. Странно говорить так о тебе, но иногда я это чувствую.

– Ты умница, – повторил он.

– Какая уж там умница. – Анна Арсеньевна устало облокотилась о высокую спинку кровати.

– Спасибо, что говоришь со мной так... Я знаю, что произношу слова, которые трудно воспринимать без усмешки. В каком-то смысле меня это и устраивает. Тут ведь не только с другими – с самим собой остережешься. А то вдруг откроешь, что в самом деле ты просто-напросто сумасшедший. И нельзя тебе было иметь детей... опасно. Я сам боюсь иных фантазий, гоню их от себя, но залетит шальная – как от нее избавишься? Вроде бы и не виноват – мысль ведь, не больше. Но я-то знаю: мыслью можно камни сдвигать.

Анна Арсеньевна не отвечала; он продолжал, уставившись в стену невидящими глазами, приоскалив рот в непривычной усмешке:

– Ты умница, умница... Послушай, я скажу тебе то, в чем боюсь признаться сам себе. Я очень люблю вас, тебя и Зоюшку. Если есть у меня немного счастья, так это вы. Не думай, что я не способен этим проникнуться... когда вижу ее в мотыльковом платице среди цветов... ну и так далее. Но бывают мгновения – именно мгновения – я вдруг чувствую: мне никто и ничто не нужно – только довести до предела идею. Не потому что это принесет мне счастье. Какое! Тут речь вообще не о счастье. Тут черт знает что. Эх, Аннушка, – продолжал он негромко и с горечью, – знаешь ли ты, что в искусстве – да и в любом развитии мысли – может быть много бесчеловечного? В пределе своем это жестокая сфера, тут не станешь рассуждать, что позволено, а что нет, если хочешь дойти до конца, до совершенства. А то лучше и не замахиваться... И тянет, тянет... Начинаешь понимать, почему мы боимся стоять у края обрыва или перевешиваться через высокий подоконник. Не потому, что можем случайно упасть. А потому, что в себе самих осознаем этот соблазн: тянет. Ты, Аннушка, сама не знаешь, как сдерживаешь меня. Если б не ты, я б, и верно, вконец свихнулся. Прости. Не спрашивай за что, но прости.

Голос его совсем осел, ему приходилось то и дело смачивать горло слюной.

– Слышишь? – Он взглянул наконец на жену – и внезапно увидел, что она сидит на кровати, неудобно прислонясь боком и лицом к железной решетке спинки; лицо ее было совершенно белым. – Что с тобой? – испуганно подскочил он к ней. – Тебе нехорошо?

Анна Арсеньевна слабо качнула головой. Вокруг рта ее и на лбу выступил липкий холодный пот. Прохор Ильич помог ей улечься на подушку. Он беспомощно оглядывался, не зная, что еще предпринять.

– Дать тебе какого-нибудь лекарства? Нашатыря?

Анна Арсеньевна покачиванием головы и движением руки дала понять, что ничего не нужно. В эту минуту погас свет; в Нечайске после полуночи нередко отключали электричество, особенно к концу месяца, когда принимались экономить энергию. Меньшутин даже обрадовался этому как поводу захлопотать о чем-то определенном. Он вышел за керосиновой лампой; через некоторое время из кухни донесся грохот опрокинутого таза, потом звон какого-то разбитого стекла. Наконец он вернулся, держа зажженную лампу перед собой. Каждый его шаг причудливо изменял очертания комнаты, тени образовывали новые углы, призрачные плоскости секли одна другую. Он поставил лампу не на стол, а на венский стул у изголовья, сам присел на краешек кровати. Анна Арсеньевна уже немного отошла, хотя испарина еще покрывала ее лицо; над верхней губой она образовала милые капельные усики, поблескивавшие в контрастном свете. Прохор Ильич запоздало спохватился принести еще воды и вновь исчез в темной кухне.

– Какая-то вдруг слабость накатила, – объяснила мужу Анна Арсеньевна, когда он, прогрохотав ведерной крышкой, появился перед ней со стаканом в руке. – Ни сердце, ничто не болело, просто слабость. Со мной так уже несколько раз было.

– Почему ж ты не говорила?

– Так ведь ничего не болит. И потом проходит бесследно. У меня просто появилась какая-то мнительность. Словно мне кто-то внушает, что я долго не проживу.

– Ну, глупости!

– Конечно, глупости. Я стала ужасно беспокойной. Никогда не думала, что окажусь такой наседкой. Отпускаю Зоюшку за калитку, а сама места себе не нахожу. Вчера снился глупейший сон: будто она заболела и лежит под каким-то стеклянным колпаком, а я встречаю в коридоре медсестру и хочу узнать, как Зоя себя чувствует, – вдруг сестра отворачивается и начинает от меня убегать. А я за ней – и бегу, бегу по жуткому бесконечному коридору, мимо дверей из матового стекла, задышаюсь... Проснулась, как сейчас, вся липкая.

– Надо сходить к врачу.

– А что он мне скажет? Вот, уже прошло. Скорей, к гадалке, чтоб объяснила сны. Бывает, страшный сон даже к добру.

– Конечно, бывает. Помнишь Милевича, жонглера? Ему три ночи подряд снилось, будто у него вместо головы кирпич. А на четвертый день его избрали председателем местногокома.

Анна Арсеньевна слабо улыбнулась; у нее были сейчас затененные щеки, черты лица стали четче, точнее; она была красива.

– У тебя хоть нормальные человеческие сны, – грустно сказал Прохор Ильич. – А мне с некоторых пор снится все какой-то театральный вздор, причем много раз одно и то же: будто мы всем семейством должны играть в спектакле, а я пьесы еще в глаза не видел, не знаю роли, но должен выйти на сцену. Сцена вроде комнаты, с дощатым полом, с двумя дверями на противоположных концах, я вхожу с одной стороны, с другой входит Зоя и начинает произносить какие-то вымученные, якобы детские остроты. А я вставляю реплики – по догадке, невпопад; роли никто из нас не знает, а играть почему-то надо. Знаешь, как бывает во сне. И мы импровизируем нестерпимо долго, нудно, с тоской предчувствуя провал, при тишине невидимого зрительного зала – и никак не можем прийти к финалу, развязке, догадаться о фразе, на которой бы все кончилось. Мучительней всего это сознание, что так может длиться бесконечно. И главное, я почти догадываюсь, что это сон, что если б проснулся – все бы стало хорошо. Но нету сил проснуться.

– Мне в школе снилось похожее: будто я не знаю урока... А помнишь, – улыбнулась она, – мы когда-то видели одни и те же сны?

– Еще бы! И угадывали мысли друг друга на расстоянии.

Прохор Ильич оживился. Низкая лампа контрастно освещала снизу его нос и надбровья, сделав их приподнятыми, уменьшив лоб и подтянув вверх уголки губ.

– Ты не ругаешь меня за то, что привез тебя сюда? – спросил он вдруг.

– Что ты, милый! Я уже привыкла. Я так славно здесь живу. И люди здесь такие славные. Трудновато – ну не без этого. Мне так нравится этот лес и тишина. Зоя рассказывала тебе, что к нам сейчас прибегает кормиться белочка?

– Кажется, нет. Меня это с некоторых пор перестало трогать. И звери, и лес – вся эта природа.

– Ты сам это выдумал. Все-таки это неправда, что нельзя просто жить. И неправда, что искусство жестоко. Оно человечно.

– Для зрителя.

– Должно быть и для художника.

– Не будем больше об этом. Наверно, ты права. Я знаю, женщины больше во всем этом смыслят. В жизни, в счастье... – Он вновь заулыбался. – Помнишь, как ты ходила среди вишен и заглядывала в сердцевинку завязей?

– И различала беременных на взгляд.

– И подставляла живот луне, чтобы родить девочку. А помнишь, как тебе позвонили мальчишки-хулиганы и попросили: «Позовите вашу дочку»? А ты ответила: «Ее пока нет».

– Это было не совсем так. Я сказала: «Она будет месяца через четыре». А они собирались просто побаловаться, звонили наугад, такого ответа не ожидали. Как же так, говорят, а мы хотели с ней познакомиться. Я сказала: «Уж потерпите четыре месяца». А сама смеюсь. Они даже обиделись: «Чего смеетесь?»

– И ты ответила: как же не смеяться, когда такое радостное событие, – через четыре месяца будет дочка.

– Они смутились, я почувствовала. «Это правда?» – говорят. – «Правда». – «А если сын?» – «Не сомневайтесь, дочка». – «Тогда желаем вам, говорят, счастливых...» И застеснялись, мальчишки все-таки. Счастливых, говорят, успехов.

– Как это все было невообразимо давно!

– Что ты, совсем вчера!

– Сколько же прошло лет?

– Года три?

– Что ты, лет десять!

– Постой, я тоже совсем сбилась.

– Сколько сейчас Зоюшке?

– Семь.

– Значит, семь с лишним лет назад.

– Неужели так давно?

– Нет, ты права. Какая-то мгновенная доля столетия...

Так они тихо говорили в ту ночь, еще долго вспоминая прекрасные месяцы, когда оба ждали свою Зоюшку, – ни один из них даже в мыслях не усомнился, что семь с лишним лет назад они ждали именно ее, худенькую и большеротую, так похожую на отца: допущенная некогда обмолвка давно стала естественным и искренним убеждением, ибо память человеческая обладает целительным свойством как бы невзначай извлекать и уводить в полунебытие способные ранить осколки, – воспоминание без надрыва проскакивает мимо затененной пустоты. Надо только не бояться доверять своей памяти; супруги Меньшутины обладали этой способностью в высшей степени.

Это сказка о силе воображения, которое может властвовать над жизнью не меньше, чем силы природы, – так скажет через несколько лет Прохор Ильич о своей «Золушке».

5

Тревожный ночной разговор и воспоминание о внезапной бледности жены, об испарине вокруг милого рта – как будто частица живого дыхания вдруг проступила сквозь кожу, осев на ней холодными каплями, – все это сильно подействовало на Меньшутину, почти испугало его, вызвав ощущение глубоко затаенной вины – за многое, за многое, хотя бы уже за то, как он всегда усложнял ее жизнь, не дав сам и доли того, чего она была достойна. Вдобавок примерно в те же дни случилось еще одно происшествие, пустое, но все же неприятно задевшее Прохора Ильича. Неподалеку от их дома, на опушке леса за кладбищем, расположили свой табор залетные цыгане. Синеволосые смуглые женщины в обвислых платьях предлагали на Базарной площади газетные пакетики с анилиновыми красками, ходили с детьми по дворам, выпрашивая молока или чего угодно другого. Анна Арсеньевна, вспомнив страшные, еще из своего детства, истории о цыганах, не отпускала Зою одну даже в сад. Как-то раз, когда Меньшутин шел в свой дворец, его окликнула на площади старуха гадалка, она сидела на приступочке у закрытого ларька среди пестрого тряпичного вороха своих юбок. Прохор Ильич, поколебавшись, подошел. Старуха бесцеремонно уставила на него взгляд круглых глаз с черной, как у животного, кожицей век; в ее желтом лице с черноседыми усиками и маленьким подбородком было что-то кошачье. Она старательно изучила его ладонь, разложила перед собой засаленные карты и среди прочих обычных фраз двусмысленного гадательного жаргона сообщила Меньшутину, что доживет он до пятидесяти трех лет, что будут у него три дочери и младшая, красавица, каких не видел свет, выйдет замуж за бубнового принца. Прохор Ильич, начинавший слушать с интересом, в этом месте рассмеялся.

– Ну, угодила ты мне, тетка, – сказал он с непривычной для себя неделикатностью; он сам не мог понять, чем его так злит цыганка. – Значит, до этой свадьбы я не доживу.

– Почему?

– А потому что мне уже сорок три и младшая моя красавица еще не родилась.

– Так карты говорят, – засердилась в ответ старуха, усики ее над уголками рта ошетились, увеличив ее сходство с кошкой, – и Меньшутин понял, что он ее уже видел, она приходила с бидончиком к их дверям, не хотела верить, что у них нет коровы, и зачем-то все норовила оттеснить испуганную Анну Арсеньевну от порога, чтобы войти в дом, пока выглянувший на шум Прохор Ильич не спугнул ее.

– Жульничать, тетка, не надо, – сердито сказал он, поднимаясь с корточек и бросая гадалке трешку (старыми еще деньгами). – У тебя валет ложился под крестовую даму, а не под червовую. Зачем подвинула? И этих двух тузов разбросала не в очередь. Вот как надо было... мы в этой работе тоже кое-что смыслим.

– Не трогай карты, блатняжка чокнутый! – оскорбленно замахала руками старуха. – Я вашего русского гаданья не знаю. Жулик! Сам ты жулик, киштухес чертовый, много ты разбираешься, у, пся твою крев, чтоб у тебя язык к зубам приклеился, стилижка мохеровый...

И до самых дворцовых ворот Прохора Ильича сопровождал ее гневный голос, собиравший вокруг цыганки все больше зрителей, которым не приходилось еще слышать столь диковинных ругательств, собранных старухой за многие годы странствий по разным местам нашей обширной родины.

Как бы то ни было, эта вздорная болтовня скверно подействовала на Меньшутину и утвердила его в уже принятом намерении отставить все прочее и по-настоящему вспомнить наконец о семье и доме. Надо сказать, на работу это ничуть не повлияло; обнаружилось, что дворец не так уж и нуждается в его постоянном присутствии и хлопотах, без него все шло точно так же, как с ним. Нехитрый механизм обрел инерцию; у Прохора Ильича давно имелись энтузиасты-помощники, в дни танцев им можно было доверять ключи от комнаты с радиолой и пластинками, а самому разве лишь к концу вечера проверять порядок. В цикле приливов и отливов энергии, из коих складывалась его жизнь, наступила пора очередного подъема, и подъем этот был одним из наиболее длительных и умопостижимых. Он даже попробовал делать по утрам гимнастику; Анна Арсеньевна с улыбкой наблюдала, как он, голый по пояс, умывается у дождевой бочки с замшелой затычкой на боку, где вода с ночи уже покрывалась легкой корочкой льда. Начало той осени выдалось ясное и прохладное, по утрам в затененной траве голубела изморозь, и грязь на дороге была твердая, когда Прохор Ильич провожал дочь в школу. Она могла ходить туда и одна, но Анна Арсеньевна беспокоилась, да и ему самому было приятно шагать рядом с ней, все еще сонной, видеть, как она раздавливает каблучком белую хрусткую корочку льда на лужах, слушать ее невнятную болтовню, нести в руках легонький портфельчик. На обратном пути Прохор Ильич заходил в магазин; он взял на себя даже часть стряпни и обнаружил здесь неожиданные познания, почерпнутые, как уверял он, из старинного поваренного руководства Елены Молоховец; во всяком случае, назывались блюда внушительно: какой-нибудь волован из слоеного теста с соусом кумберлянд, кулебяка с сомовым плесом, а то и вовсе какое-нибудь картофельное фрикасе во фритюре или яйца-кокотт с грибным пюре в чашечках. Что это было на самом деле, трудно сказать, но звучные названия, бесспорно, придавали блюдам особый вкус, и даже если они выходили подгорелыми, оказывалось, что легкий привкус уголька рекомендован рецептом для вящей пикантности. Особенно изощрялся Прохор Ильич в приготовлении грибов. Они ходили в лес почти всю осень вместе с тетей Пашей, не без удивления наблюдая, как грибы растут под взглядом старухи, раздвигают шляпками шуршащие палые листья в том месте, где только что бесполезно прошли другие.

Однажды, наклонясь за грибом, Анна Арсеньевна ощутила сильную боль в пояснице – и почти обрадовалась определенности этой боли; приступы беспричинной слабости пугали куда сильнее. Местный врач объявил, что у нее воспаление почечных лоханок, и прописал настой медвежьего ушка, однако для более точного диагноза посоветовал произвести рентген почек. Сделать это можно было только в областной больнице. Анна Арсеньевна ехать пока не захотела, ее пугала одна мысль о тряске: в воспоминании она с каждым годом представлялась все более ужасной. Три года назад от железнодорожной станции к Нечайску начали насыпать рядом со старым трактом новое шоссе, но пока не протянули и десяти километров; самолеты осенью в Нечайске не садились, да самолета она и подавно боялась. К тому же медвежье ушко, видимо, помогло, боль в пояснице не повторялась, и Анна Арсеньевна уговорила мужа повременить с поездкой до зимы, когда путь по снегу станет легче.

Меньшутин обычными шуточками пробовал смягчить собственную тревогу. В доме явственно ощущалось какое-то неблагополучие. То вдруг сами собой останавливались большие настенные часы – потом, пропустив изрядный кусок времени, с шумом наверстывали упущенное и далее шли нормально до следующего сбоя. То старенький приемник Прохора Ильича переставал находить нужную программу в обычном месте шкалы, и она обнаруживалась совсем в другой стороне. С калитки таинственно пропал обшарпанный почтовый ящик, невозможно было понять, кому он мог понадобиться. Вдобавок тетя Паша повадилась рассказывать им вслух свои сны, и сны эти с некоторых пор шли как на подбор малоприятные: то виделась ей дорога, по которой с кудахтаньем носились ощипанные безголовые курицы, то небо, сплошь засиженное белыми толстенькими личинками, то мужик, который

одновременно был деревом со множеством обрубленных ветвей: культы заросли узловатыми наплывами коры, как это бывает у старых подрезанных тополей, лишь две последние руки торчали нескладно из широких, в косую сажень, плеч, и весь он, по словам тети Паши, был нескладный, кряжистый, бесшабашный, как первый ее муж, погибший на лесозаготовках от несчастного случая. «Ты хоть последние две побереги», – говорила она ему во сне, а он со смехом матерился – ему все было нипочем. Вообще тетю Пашу с годами стало все чаще клонить в сон, особенно к осени. Она обладала способностью засыпать в любой момент по своему желанию и отдавалась этому занятию со вкусом, отправляясь спать, как другие идут в кино или театр, – смотреть сны. Иной раз она даже сюжет определяла заранее. Прохор Ильич относился к ее рассказам как к разновидности фольклора. Была у него мысль сказать старухе, чтоб она не усугубляла тревоги, и без того витавшей в доме; ее настроение всегда было заразительным для Анны Арсеньевны; потом подумал, что это значило бы придать разговорам слишком большое значение, и вмешиваться не стал.

В один прекрасный день к Меньшутиным появился совсем уж неожиданный гость – бывший бухгалтер райфо Антон Антонович Бидюк. Прохор Ильич знал его, хотя близко знаком не был. А уж Бидюк знал, без преувеличения, всех в Нечайске. Это был не по возрасту румяный маленький человечек со свежими влажными губами; таким он был всегда: и в сорок, и в шестьдесят лет, и эта его неподвластность возрасту многих раздражала. Лишь совсем вблизи можно было различить, что румянец его скорее уже склеротический, да и сами щеки вялые. Лишенные ресниц, глаза Бидюка были скрыты за непрозрачно отсвечивающими стеклами очков, круглые, как у летучей мыши, чуткие уши слабо пошевеливались, невольно вызывая сравнение с радиолокатором.

– Слыхал, супруга ваша хворает? – сказал он мягким тенорком, неторопливо оглядывая комнату. – Диагноз, конечно, неопределен? Н-да, бывает... В принципе медицина заслуживает уважения, но в нашей, так сказать, реальной жизни, – он подчеркнул слово «реальной», – бывают случаи, когда стоит подумать... н-да... и поискать самим.

Прохор Ильич не стал спрашивать, откуда у бывшего бухгалтера такая осведомленность, и не удивился его намекам. Он обратил внимание на Бидюка еще в дни первого нечайского праздника, когда тот посоветовал быть осторожней с окольцованным пескарем; у них даже вышел потом небольшой разговор. Жизнь этого человека определяло убеждение, что все происходящее в мире имеет не столько ясную, сколько секретную причину, скрытую от непосвященных, и искать всему объяснение надо между строк, как при чтении газет; разумеется, способны на это немногие. У него была собрана целая библиотека на темы разведки и секретной политики, где каждая книга и газетная вырезка испещрены разноцветными, одному ему понятными пометками. Жил он уединенно и осторожно, ел и пил только дома, а на случай внезапной жажды носил при себе специальную бутылочку с собственноручно прокипяченной водой. Мылся тоже исключительно дома, в особом корыте, и, когда однажды обнаружил у себя на ногах грибковый лишай, долго, но безуспешно расследовал, кем могла быть занесена к нему зараза. Даже здоровался Бидюк с людьми не за руку, а кивком на расстоянии, в разговоры вступал сдержанно – и тем не менее обо всех все знал! Изредка он не прочь бывал озадачить собеседника своей непостижимой осведомленностью. «Как же ты, брат, упустил вчера последний кон в домино? – говорил он случайно встреченному на улице знакомому. – Надо было тебе сперва отдултиться шестерочной, потом уж пустышку ставить». И облизывал кончиком языка не улыбочные яркие губы, наблюдая из-за очков перемену в лице приятеля. А через минуту подмигивал другому: «Ну что, реквизировала у тебя супружница трешку? Ты уж ей не показывай ту, что за подкладочкой...» Справедливости ради надо сказать, что осведомленностью этой Бидюк по-настоящему всерьез не пользовался и вообще предпочитал держаться в тени. У него была репутация человека дальновид-

ного. Никто не подозревал, сколь буквально можно было применить к бухгалтеру это слово, никто не знал, что в доме его, возвышавшемся на холме, в надстроечке вроде скворечника с окнами на все четыре стороны света, укреплен был на специальной подставке большой морской бинокль с шестнадцатикратным увеличением, и Антон Антоныч просиживал возле него часами, наблюдая в близких подробностях и базарный торг, и разговоры женщин на улицах, разбирая со сноровкой глухонемого слова по беззвучному шевелению губ, различая точки на костяшках домино в руках игроков и трешку, засунутую за шапочную подкладку. По вечерам и далеко за полночь в окошках скворечника светилась под зеленым колпаком настольная лампа; задернув все четыре занавески, Бидюк писал.

– До вас дошло, что я хочу сказать? – говорил он теперь Меньшутину тихим тенорком, продолжая сдержанно – почти без поворота головы – оглядывать комнату. – Небесполезно было бы вспомнить, кто мог иметь против вас зло? Не обязательно из числа ближайших соседей. Но, скажем, из тех, с кем вы соприкасались прежде – там, откуда вы приехали... я понятно выражаюсь? – и у кого могло бы возникнуть желание вас разыскать. В конце концов все таинственные явления имеют реальную, – он опять произнес это слово с нажимом и медленно провел кончиком языка по нижней губе, – реальную причину...

Боже мой, думал Прохор Ильич, с тоской поддакивая ему и кивая, вот еще один создал для себя особый параллельный мир – со своим светом и тенями, со своим порядком вещей, своими законами и причинами. И он говорит мне о реальности, о непреложной реальности. И пожалуй, благожелателен ко мне. Сам ко мне явился. А что мне с ним делать? Знаем мы эту пожизненную игру, эту тихую страсть, это якобы безобидное сумасшествие. Сам был почище. Хорошо, если вовремя спохватился... не дай бог, не дай бог. В каком-то смысле у каждого свой особый мир, но где-то всегда найдется точка пересечения. И не заметишь, как втянет в свои правила, в свое измерение; а дай ему еще масштаб, чтоб привести в соответствие... ах как все это знакомо...

– Да-да, – бормотал он уже вслух, изучая уголок пространства между ухом Бидюка и его плечом, – я непременно подумаю, спасибо... в ваших словах есть нечто... Кстати... – тут он взглянул в очки собеседника – но лишь на секунду, – раз уж вы сами заговорили... мне как-то было неловко... и наверно, это вздор... Помните, вы сетовали как-то на кожную заразу, неизвестно откуда занесенную? Скорей всего, это вздор, но я наблюдал: на ваш участок наведывается одна собака, черная, в рыжих подпалинах. Причем всегда заходит на террасу, и всегда в часы, когда вас нет. А главное, всегда одна и та же. Производит впечатление дрессированной. Возможно, я ошибаюсь, но все-таки... счел долгом поделиться.

На лице отставного бухгалтера не отразилось никакого движения, но он не ответил, и Прохор Ильич получил возможность быстро перевести разговор к прощанию; поддержав гостя за локоток, сам проводил на крыльцо и отметил про себя рассеянную учтивость, с какой Бидюк откланялся.

Зимой Меньшутиним пришлось все-таки ехать в больницу: безо всяких анализов было видно, что с Анной Арсеньевной дело плохо. Лицо ее стало землисто-сероватым, хотя румянец по-прежнему возникал на нем – но уже не тот милый, цвета живой крови, а каким-то темным пятном, оставляя бледность вокруг рта и глаз, как на гротескной маске. За Зоюшкой они попросили присмотреть тетю Пашу, и та с полнейшей охотой согласилась.

Впервые за многие годы они ехали куда-то вдвоем – сперва на автобусе, потом ожидали поезда, угощаясь в станционном буфете лимонадом и бутербродами с твердой колбасой, и целовались в зале ожидания, как когда-то в молодости, когда у них не было жилья и они ходили целоваться на вокзал, где можно было изображать из себя бесконечно встречающихся или бесконечно провожающих друг друга людей; они целовались перед каждым отходом поезда и после каждого прибытия, так что внимательный милиционер мог бы нако-

нец с подозрением приглядеться к ним, как оно однажды и случилось, и тогда они перешли на другой вокзал, где целовались уже только при встрече поездов: они действительно были всю жизнь бесконечно встречающимися. Теперь им предстояло расстаться. Прохор Ильич устроил ее в больницу; неделю он пожил в гостинице, дожидаясь, пока Анну Арсеньевну осмотрят все врачи. Терапевт препроводил ее к урологу, уролог, покачав головой, обратно к терапевту, тот к невропатологу, который неопределенно заявил о необходимости более детального обследования. Наконец Анна Арсеньевна попросила мужа вернуться обратно к дочери.

– Не оставляй ее одну, Проша, – сказала она. – И вообще – не отпускай от себя... будь с ней серьезен. Особенно если что-то случится. Обещай мне. Мне очень за нее тревожно.

Прохор Ильич в ответ стал сердито возражать ей, что ничего не может случиться, если она сама не будет внушать себе всяких глупостей, даже думать таких вещей не надо, не то что говорить. Анна Арсеньевна покорно согласилась и заверила, что ничего плохого не хотела этим сказать – так, на всякий случай. «Как славно мы с тобой съездили», – с улыбкой вспомнила вдруг она, и лицо ее просветлело. Они стояли в тусклом больничном коридоре, полосатый казенный халат туго обвивал ее девическую фигуру и был на удивление изящен, даже белые завязки у шеи выглядывали из-под него как-то нарядно; серые глаза ее светились спокойствием и нежностью – а он внезапно словил себя на том, что неотрывно смотрит на нее, будто стремится запомнить вот такой, запечатлеть навсегда; потом он не раз думал, что это был миг самого отчетливого из всех его предчувствий.

Анна Арсеньевна умерла через день после отъезда мужа от внезапнейшего сердечного приступа, совершенно не связанного с предполагаемой болезнью; незадолго до того врач особых претензий к ее сердцу не предъявил, хоть и признал его, конечно, довольно изношенным.

Телеграмму Прохор Ильич получил лишь через день после случившегося. В Нечайск ворвались такие морозы, что ночью полопались лампочки на двух единственных в городе фонарях – у автобусной остановки и перед райсоветом, а провода между столбами натянулись как струны и ныли от малейшего шевеления воздуха. Обрыв линии произошел в ночь на субботу, и до понедельника ее никто не вышел чинить. Во вторник Меньшутин забежал на службу оставить ключи помощнику; заиндевелый, со снежными шапками на башенках, дворец был похож на кривобокий обсахаренный торт. Он уже покидал свой кабинет, когда раздался телефонный звонок из больницы; сердитый мужской голос интересовался, намерен ли он приезжать. Было ужасно плохо слышно, Прохору Ильичу показалось, что его спрашивают, где он собирается хоронить, и он поспешно подтвердил, что здесь, в Нечайске. На автобус он едва не опоздал. Народу в нем почти не было, охотников ездить в такой мороз без особой нужды нашлось мало. Отъехав от города километров пять, машина закашляла и остановилась. Шофер открыл капот, долго копался в моторе, согревая дыханием пальцы, наконец выругался: чинить поломку сейчас было делом безнадежным. Он слил воду из радиатора и посоветовал пассажирам возвращаться в Нечайск пешком; может, повезет и с попуткой. Следующий автобус ожидался вечером. Меньшутин слушал его, плохо понимая, слова пробивались к нему точно сквозь тяжкий морозный туман; он кивнул и зашагал в сторону, противоположную от Нечайска. Шофер весело окликнул его, решив, что товарищ спьяну перепутал направление; когда Меньшутин не отозвался, он догнал его и придержал за плечо. Правда, он тут же убедился, что папаша не пьян (Меньшутин показался ему старым, потому что брови его были совсем белы от инея), а скорее чокнут. Сорок с лишним километров до города в такой мороз ему не осилить, сказал шофер, а попутку надежней ждать в тепле. Меньшутин возразил, что дальше можно будет встретить грузовик с лесоразработок. Шофер засмеялся: лесоразработки давно отсюда перевели, здесь все вырубili. Тот выслушал его слова, но как

будто опять не понял, пошел дальше. Парень окликнул его раз, другой, потом махнул рукой: не держать же дурака силой; по дороге были еще три деревни – может, и вправду оттуда кто-нибудь выедет; но ближайшая из них лежала еще в пятнадцати километрах.

Меньшутин шел, не ощущая мороза; снег жестко и равномерно скрипел под его калошами; все вокруг было белым: белое небо за пленкой облаков, белая земля, белые деревья, точно узоры на замерзшем стекле, белый пар от дыхания; он шел сквозь эту жгучую опустошающую горестную белизну, делавшую мир безразлично-непроницаемым для взгляда, и сам пропитывался этой белизной, сливался с ней. Он потерял представление о пройденном расстоянии в этом равномерном однообразном пространстве и не удивился, когда впереди показалась деревня. Белые дымы поднимались над белыми сугробами, вишни за снежными заборами снова были в белом цвету; у околицы сидела на сугробе собака, похожая на изваяние, сделанное из того же снега. Меньшутин подошел поближе, и собака окончательно превратилась в сугроб; вслед за нею исчезла и деревня; зато из кустов показалась чья-то заиндевелая рожа, заскрипела: «Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, красная?» И этот цитирует, рассеянно подумал Меньшутин. Уж здесь-то мог бы обойтись без шутовства. Рожа фыркнула и закрыла за собой ветки, устроив бесшумный снегопад. Лишь теперь до Прохора Ильича начал доходить мороз, он ломил надбровья, склеивал веки, оглушал, корень языка и вся кожа тела ощущала его холодно-спиртовой, кисло-сладкий привкус. Из-за облаков на минуту высвободился тоненький длинный лучик солнца и тотчас заledenел; Меньшутин приблизился к нему, щелкнул ногтем – лучик зазвенел как сосулька. Затем он исчез, и белизна опять стала непроницаемой. Когда впереди вновь показалась деревня с белыми дымами над трубами и белыми вишнями за заборами, Прохор Ильич окончательно убедился, что движется на одном месте, и, как ни странно, испытал нечто вроде облегчения. Это оказалась, однако, настоящая деревня. Он успел здесь отогреться и прийти в себя, когда прибыл вечерний автобус из Нечайска; однако на поезд он уже опоздал и лишь утром следующего дня добрался до больницы, где узнал, что гроб с телом Анны Арсеньевны час назад увезли в Нечайск. Прохор Ильич не стал даже доискиваться, как могло случиться такое недоразумение, настолько странное и маловероятное, что собравшиеся в его доме соседки не очень-то поверили ему, когда он прибыл сюда через несколько часов после покойницы. Впрочем, он и без того здесь только мешался; всем распоряжалась тетя Паша – умело, со знанием, даже как бы со вкусом. Изголовье гроба она украсила розами – теми самыми, что Меньшутин когда-то купил на базаре у сурового мастера, а потом засунул в самый дальний ящик комода; тетя Паша, знавшая здесь все уголки, извлекла их на свет, опрыскала изо рта водой, и сейчас они лежали как живые, с капельками влаги на светло-алых лепестках, бросая отсвет легкого румянца на щеки Анны Арсеньевны. Всех особенно неприятно поразило, когда Прохор Ильич вдруг потребовал убрать их, да так резко, так яростно – пожалел цветы, что ли? Вообще поведение его не нравилось соседям, и размягченное их доброжелательство к человеку, застигнутому несчастьем, – доброжелательство, в котором всегда есть толика благодарного облегчения за то, что из общей суммы бед, заготовленных на всех судьбой, он уже взял свою долю и, значит, уменьшил статистическую вероятность несчастья для них, все больше сменялось некоторой даже подозрительностью. Хоть бы слезу выдавил; ходил по дому хуже постороннего, не встречался ни с кем взглядом, а если встречался, то подергивал головой и улыбался, точно извиняясь и желая пояснить каждому, что он ни в чем не виноват, – но сейчас же отводил глаза и принимался тереть пальцы или уши (обмороженные, они зудели у него в тепле). И уж когда он вдруг вознамерился прогнать явившийся к дому духовой оркестр, свой же, дворцовый, – ему этого не позволили. Оркестр шел впереди гроба до кладбища; Меньшутин ковылял где-то сбоку, как дальний родственник. Зою вела за руку тетя Паша. Мороз уже отпустил, воздух был наполнен легкой снежной пылью и оставлял на языке сладковатый арбузный привкус. Хотя кладбище находилось совсем неподалеку, за

выступом леса, Прохор Ильич впервые за все годы оказался здесь; его внезапно поразила крохотность отгороженного места; сознание отвлекла странная мысль, что могил тут было меньше, чем домов в Нечайске, хотя, казалось бы, за множество лет в земле должно было собраться куда больше людей, чем их ходит по поверхности. В самом деле, она присоединяется к большинству и увеличивает его, подумал он и тут же опомнился: о чем я!.. Стояла оглушительная пустая тишина; беззвучно раздували щеки трубачи и валторнисты, ватно сходились одна с другой медные тарелки, и лишь частицы сухой, добела раскаленной снежной пыли, соприкасаясь в воздухе, издавали чуть слышный прозрачный шелест.

6

Неблагоприятное, даже несколько подозрительное впечатление, которое произвел Прохор Ильич на похоронах, было полностью искуплено его последующим поведением. Правда, некоторым не понравился рассказ тети Паши о том, что он снял со стены в комнате большую фотографию Анны Арсеньевны, объяснив, что она якобы вдруг перестала быть похожей, то есть попросту исказилась до невозможности; это смахивало на очередную сомнительную выходку. Зато молчаливость Прохора Ильича – точно от пережитого мороза в нем что-то заledenело – быстро оттаяла, он готов был подступить к любому, кто соглашался слушать, и не без навязчивости принимался рассказывать о жене, о ее удивительном нраве, доброте и терпении и о том, как они целовались на вокзалах и на скамейках, как она вынашивала Зоюшку, как подставляла живот полной луне, чтобы, согласно примете, родилась девочка, как угадывала взглядом плодоносящих и как ей звонили по телефону славные мальчишки-хулиганы. У иных эта забывшая меру открытость вызывала неловкость, искорки в глубине его черных зрачков пугали, но многие слушали с жадностью, а тетя Паша так по несколько раз, и все с сочувствием оценивали эту разговорчивость как признак несомненного горя.

Но сверх всякого ожидания была его забота о дочери. Он ухаживал за ней, как женщина, – сам стряпал, даже при надобности шил, и неплохо, расчесывал по утрам косички, отпускал от себя разве что в школу, а по вечерам брал с собой во дворец, где Зоя смотрела кино или сидела в комнате за сценой, тихо наблюдая через открытую дверь за танцующими. Тем не менее соседи надеялись, что, выждав приличный срок, Прохор Ильич женится заново: человек он был еще нестарый, а девочке, как ни говори, нужна была мать. Но проходил месяц за месяцем, прошел и год, и другой, а он все жил вдовцом. Тетя Паша, вспомнив давнее свое призвание, пробовала свести его с некоторыми незамужними женщинами, причем выбирала конечно же не каких-нибудь, а образованных, серьезных, хозяйственных, не говоря уже о внешних женских достоинствах. Она сама заранее ревновала каждую из них к памяти своей любимицы, но словно подчинялась какому-то неодолимому инстинкту, не позволявшему оставлять человека без пары, обломком. Прохор Ильич уклонялся от ее направляющей руки мягко и, по обыкновению, как бы конфузясь, отчего возникло даже мнение, что он просто чувствует себя неспособным к выполнению супружеских обязанностей. Тетя Паша после каждого такого отказа оскорбленно покидала дом, но через некоторое время вновь появлялась, причем безошибочно каждый раз, когда накапливалась очередная стирка, и сердито объясняла Меньшутину, что пришла, только жалеючи девочку.

Впрочем, Зоя и без ее помощи уже со многим могла справляться. К десяти годам она вытянулась, поздоровела, хотя оставалась по-прежнему худой и все еще гундосила из-за миндалин, но от простуд избавилась, и ее привычные к босой ходьбе пятки уже в мае бывали несмываемо-черны от липкого сока приклеившихся к ним тополиных почек. Только в озере ей купаться не разрешалось – слишком холодной оставалась здесь все лето вода. Зато они с отцом полюбили гулять по его берегу – на дальний конец, где за густыми зарослями ольхи

ими был открыт высокий обрыв, а под ним – омут с прозрачной угольно-черной водой. Подступы к нему охраняло множество паучков-крестовиков, и надо было осторожно обходить, подныривать или продираться сквозь их липкие полуневидимые сети; над водой летали стрекозы с крыльями из красной, синей, зеленой и оранжевой, в прожилках, слюды, а если долго смотреть сверху в черную глубину, можно было увидеть иной раз, как проплывает, лениво поводя хвостом, тусклая таинственная рыбина. Прохор Ильич забыл, что так бывает; о, как много он, оказывается, забыл! Они ходили по траве, разбрызгивая из-под ног кузнечиков, но стоило ему нагнуться пониже, и он с удивлением обнаруживал, что кузнечики не только прыгают – обычно они ползают, шагают на тоненьких мушиных ножках, которыми были снабжены помимо общеизвестных, складных. Он наверняка видел это прежде, в пору, когда глаза его были ближе к земле; собирая год за годом все новые знания, он не заметил, что растерял и позабыл их не меньше – первоначальных, коренных. Он не помнил названий деревьев и трав, цветов и ягод, о которых все спрашивала его Зоя; он по-прежнему мог воспроизвести голоса птиц, но, к собственному замешательству, путал их имена и почему-то, не желая признаваться перед дочерью в своей беспомощности, говорил ей придуманные наугад, самодельные прозвища. С облегчением и в то же время смущением он обнаружил, что Зою это вполне устраивает, тем более что она все равно плохо удерживала имена в памяти и сама потом заменяла их новыми, на свой вкус.

Все это было прекрасно, это было, наверное, наслаждение – но словно невытянутая заноза, словно нерассосавшийся гнойничок начинал то и дело ныть, зудеть внутри, не давая Прохору Ильичу сполна отдаться этой безмятежности, заставляя его убеждать себя: это ведь и есть то, о чем стоит мечтать, верно? Это и есть жизнь... Зоя приносила из лесу корни и сухие ветки, в которых ей увиделись чьи-то причудливые очертания, они обрезали ножом лишнее, ставили фигурки на подставки – а какая-то посторонняя струна все ныла, будто напоминала ему о сомнительности их занятия. Гораздо спокойней было Прохору Ильичу возрождать собственные свои давние навыки: он делал для Зои свистульки из бузины, из сухих стручков акации и из сочного полого стебля цветка, названия которого так и не вспомнил, мастерил с ней из бумаги птичек, кораблики, кошельки и надувных чертиков, клеил змея, сомневаясь, сюда ли прикрепляется хвост, – но змей, как ни странно, взлетал, и Прохор Ильич с облегчением убеждался, что это все-таки жило в нем, как умение плавать или ездить на велосипеде, – сейчас оттаивало.

Конечно, он мог научить дочь в основном мальчишеским умениям, но ей, казалось, это и было нужно. В ее худой нескладной фигуре было что-то мальчишеское, она и бегала по-мальчишески, без видимых усилий обгоняя многих.

Ее охотно принимали в игры, хотя партнерам она доставляла не меньше досады, чем радости: в ней совершенно не было интереса к победе. Когда в известной игре, называемой «круговая лапта», Зоя последней оставалась в кругу и от нее зависело спасение всей команды, она в последний момент могла поддаться соперникам нарочно, чтобы избавить их от огорчения. У нее как-то вылетало из головы, что тем самым она приводит в бешенство собственную команду; право, для нее это всякий раз оказывалось проблемой. Прохор Ильич, наблюдая за дочерью, не раз думал, что Анна Арсеньевна зря корила себя за недостаток воспитательных стараний: тут чувствовался ее дух, намеренные беседы ничего бы не добавили. Он знал, что Зою в досаде называют придурковатой, тем более что вялость сочеталась в ней с внезапной порывистостью, а незаинтересованность в победе – с упрямством и безоговорочностью пристрастий. Она не казалась необщительной, к ней приходили подружки вместе готовить уроки, но чувствовалось, что среди общих игр и разговоров она скорей занята чем-то своим. Имея в распоряжении большой пустой дом, Зоя предпочитала потайные убежища: за поленницей у сарая или в кустах густой сирени, где летом можно было устроить себе

нечто вроде шалашика, перенеся в него еду и книги; она жила как бы в своей раковине, и внешние звуки доходили до нее в виде причудливого перламутрового шума.

Однажды девочка явилась домой с разбитым лбом: в нее запустил камнем соседский Юра, светловолосый взвинченный пацан, прозванный Бешеным. По ее рассказу, это случилось так: они шли рядом из школы, вдруг он взял ее за руку, и Зоя ощутила по всей коже кисловатое пощипывание, какое бывает, когда лизнешь языком электрическую батарейку. От неожиданности она поморщилась и выдернула руку. Тогда вот Бешеный отскочил в сторону и запустил в нее камнем. «Ты его обидела, – покачал головой Прохор Ильич. – Он не хотел тебе сделать плохого, просто взял за руку». Юра был когда-то одним из способнейших учеников Анны Арсеньевны, Прохор Ильич знал его. Не так давно Юрина мать принесла Меньшутину почтовый ящик, таинственно пропавший почти два года назад и обнаруженный вдруг на их чердаке. Прохор Ильич без труда связал оба происшествия воедино. «Вот и в тебя, девочка, влюбились», – подумал он с улыбкой. Скорей всего, над ним бы посмеялись, вздумай он уверять, будто смешная и тайная детская влюбленность может тянуться так долго, но он не сомневался, что все это именно так. Юра был года на три старше Зои, почти одного с ней роста, гибкий, тонкий, весь какой-то резиновый. Приятели, желавшие позлить его, любили крикнуть ему издали: «Почем золото?», а Митька Пузиков, известный охальник, припевал: «Удивительный вопрос, почему я говновоз?» – тоже издали, потому что, зайдясь, Бешеный не помнил себя и мог покалечить кого угодно. Дело в том, что отец его был золотарь, человек заметный и по-своему важный в Нечайске; он разъезжал на своей бочке, запряженной серым мерином по имени Амур: грузный, краснолицый, толстогубый, заросший разноцветной щетиной – и служил предметом многих пересудов. Появился он в городе во время войны среди эвакуированных, женился да здесь и осел, заменив умершего к той поре старика ассенизатора. Кто он и откуда, не знал даже всеведущий Бидюк, и отношение к нему установилось примечательно двойственное: презрительное (ибо каждый сознавал свое превосходство над вонючим золотарем) и одновременно завистливое: еще бы, сумел сразу найти доходное местечко. Платили ему по какой-то традиции, не торгуясь, – поскупись, в другой раз заставит ждать, особенно весной, пока из отхожего места, которые здесь копали мелко, не начнет переливаться (употреблять это добро для огородов в Нечайске не было принято). Он подъезжал к воротам, покачиваясь в лад задумчивым шагом своего Амура: на голове старинный картуз, к нижней губе навечно прилип окуроч, из ноздрей валит дым; маленькая трясогузка, устроившая свое гнездо на самом передке его повозки, под бочкой, в тревоге перед новым человеком отлетала каждый раз в сторону и начинала известный спектакль, отвлекая опасность от птенцов: убегала по земле, потряхивая бело-черным хвостиком и притворяясь подстреленной, взлетала, вновь садилась на землю и опять взлетала. Золотарь совершал свое дело, водружался на повозку и, если хозяйка медлила, напоминал хриплым голосом: «Ну, гони миллиончик...» Некоторые, особенно старухи, не признаваясь в том никому, считали, что соприкосновение с домашними отбросами и нечистотами сообщает золотарю способность судить о состоянии дел в семье и доме, и внимательно прислушивались к замечаниям, на которые он не скупился во время работы – особенно к концу недели, когда он успевал надышаться своими ароматами и точно пьянел от них. В субботу вечером его бессловесная красавица жена топила баню, по-деревенски устроенную в собственном доме (еще б ему заявиться в общую!), он выпивал поллитровку, утром опохмелялся и выходил на улицу, переодетый в чистое, аккуратно подбритый – неузнаваемый; водка действовала на него странным образом, не опьяняя, а, наоборот, словно снимая, нейтрализуя обычное его опьянение; взгляд воспаленных глаз становился осмысленным, он вежливо и вяло здоровался со знакомыми, покупал на почте газеты, беседовал в чайной о политике – почему-то напоминая всем обвисший мешок. С понедельника к субботе глаза его вновь наливались

краснотой, лицо обрастало разноцветной щетиной, голос становился хриплым и грубым. Так продолжалось до осени, когда трясогузка с очередным своим выводком улетала в Африку и он ставил свою бочку на покой в темный сарай, где на ней вырастали шампиньоны.

Зимой золотарь был простым возчиком коммунхоза; потом возвратившаяся птица откладывала в привычное гнездо пяток пестро-коричневых яиц, и для него начинался очередной кругооборот... Люди затруднялись в суждении, стоит ли сочувствовать его жене или, напротив, завидовать ей. Что-что, а деньги у нее были, сын их одевался лучше многих, да и сам по себе был хорош: голубоглаз, тонколиц, умница, отличник, с особым талантом к музыке и рисованию – всем бы на радость родителям, если б не взрывчатый его характер. Он будто жил в убеждении, что над ним беспрерывно смеются, брезгают им, мог полезть в драку за невинное словцо, а то и вовсе без повода, и хотя был невелик ростом и несилен, с ним не любили связываться, ибо в ослеплении он забывал меру и правила. Он был весь заряжен постоянным яростным электричеством; когда он причесывал свои жесткие сухие волосы, светлый нимб искр плясал под эбонитовой расческой, и, дотронувшись до него в минуту его особенной нервности, можно было ощутить довольно чувствительный удар... Прохор Ильич не знал, как объяснить все это Зое, да и стоило ли. Хотя под маечкой у нее уже чуть набухали трогательные остренькие соски, она все казалась какой-то неразбуженной. Уж все про них, наверно, знали, и сколько было пропето дразнилок – до нее же будто и не дошло. К счастью, летом Юра окончил седьмой класс и уехал из Нечайска – поступать в техникум. Что ж тут поделаешь? Милая и грустная штука – детская любовь, ей не дано ничем разрешиться – только ждать своей поры...

7

Как-то в конце августа Меньшутин был послан на совещание клубных работников в Москву и взял с собой Зою. Многолюдство гигантского города смутило его; люди текли по улицам, соприкасаясь, сталкиваясь, огибая нечаянные препятствия, – как молекулы в бездушном потоке, просачиваясь, вдавливаясь в двери магазинов, точно в горловину песочных часов, – и закрадывалась странная мысль: да нужно ли их столько? Меньшутин пробовал напомнить себе, что каждое лицо – это жизнь, судьба, это целый мир, но не получалось; бесчисленность лиц не позволяла в них взглядеться, сосредоточиться, вообразить роль каждого. После прогулок по улицам у него начинала сильно болеть голова – толчками, будто какая-то тупая мысль с усилием пробивалась сквозь скорлупу; это были первые приступы тех самых головных болей, которые с перерывами, затихая и возобновляясь, уже никогда его не оставляли.

Зоя разглядывала Москву молчаливо и скованно. Хотя она впервые в жизни увидела и поезд, и трамвай, и метро, и огромные дома с лифтами, Кремль, наконец, поразило ее все это не так, как она сама ожидала. Воображение ее, подготовленное книгами и кино, заранее и, пожалуй, ярче знало и эти самодвижущиеся лестницы, и самооткрывающиеся двери, и улицы со всеми их чудесами; оглушили ее скорей размеры – как будто она вошла внутрь знакомой картинки, уменьшившись до зернышка: дома, поднявшиеся как на опаре, нависали над ней уступами одинаковых окон, так что приходилось все время задирать голову; солнце с тесного неба дышало сухим пыльным жаром отопительных батарей, от этого привкуса першило в горле; изгибы и горбы улиц были закаменелые, заскорузлые, и все отдавало геометрическим поскрипыванием, жестяным грохотом, шелушащейся жесткостью папье-маше, держало в бездумном напряжении. Пережить Москву по-настоящему раскованно, осмыслить и досочинить ей еще лишь предстояло по возвращении в Нечайск...

Уже незадолго до их отъезда на одной из улиц случилась встреча, немало взволновавшая Меньшутину. Собираясь свернуть с Зоей к станции метро, он вдруг остановился как пораженный и сжал руку дочери так сильно, что она вскрикнула.

– Взгляни, – зашептал он возбужденно, – вон идет человек, видишь? Вон, старик в таком чудном клобуке... да ты посмотри как следует – это же я? Я в старости! Боже мой, совершенно те же черты, только обветшавшие...

Действительно, в человеке, на которого указывал Меньшутин, было с ним удивительное сходство: тот же рост, то же широкое лицо с шишковатым носом, только изрядно багровым; под глазами набрякли темные мешки; длинные волосы, спускавшиеся назад из-под фетровой шляпы с обрезанными полями, были еще темны, лишь загривок порос неопрятной сединой, отчего и хотелось называть его стариком. Он шел быстро, заложив руки за спину, наклоняясь от этого немного вперед, и даже припадал на левую ногу, как Меньшутин. Но все же подобная встреча, тем более в Москве, где кого только не увидишь – хоть негра, – была не настолько чудесной, чтобы так поразить человека, как это случилось с Прохором Ильичом. Он последовал за стариком, таща дочь за руку и ничего вокруг не видя. Тот свернул к небольшому скверику и остановился у пивного ларька; Меньшутин занял очередь за ним. Боже мой, боже мой, в смятении думал он, неотрывно глядя сзади на бритую щеку старика, на красное ухо с пучком седых волос, на усыпанный перхотью пиджак и седой загривок над засаленным воротом рубашки, вот так оно все и будет, так вот просыплетесь год за годом, быстренько, оглянуться не успеешь, да и не захочешь оглядываться – что там было у тебя в голове и какие возникали миражи, – ладно уж, чего теперь, сколько там осталось... уж как-нибудь, бочком, бочком... простите, что занимал место. И пиво-то он просит с виноватой улыбкой, и тетка ему конечно же не долила... Старик отошел с кружкой в сторону (столов и тем более стульев здесь, понятно, не было); Меньшутин через короткое время оказался рядом с ним.

– А девочка-то ваша спит, – неожиданно обратился к нему старик.

Прохор Ильич оглянулся: Зоя действительно стояла возле него с закрытыми глазами.

– Устала, – объяснил он и сам отер запаренный лоб. Разбавленное пиво было необычайно вкусно и целебно орошало иссохшее запыленное горло.

– Очень похожа на вас, – словоохотливо продолжил тот.

– Да... Все говорят. Самое удивительное: не только внешне – даже почерк у нее мой. Хотя никогда не видела, как я пишу; дома я этим не занимаюсь.

– Первый раз в Москве? – спросил старик, отхлебывая из своей кружки.

– Она – первый. Я бывал здесь до войны. И после.

– Тут сомлеешь, особенно с непривычки. Икрытник. Когда я попал сюда лет пять назад и увидел откуда-то с балкона это месиво, я подумал: ой-ей-ей! Очень, знаете ли, поучительно увидеть себя сверху в виде суетной молекулы. Именно думаешь: ой-ей-ей! Вот она, значит, наша жизнь. Что же в ней, спрашивается, принимать всерьез? Особенно в моем возрасте, когда впереди, можно сказать, огрызок.

– Да-да, – согласился Меньшутин, не удивляясь, что сентенции пьющего пиво старика так совпали с его собственными мыслями; даже голос был знаком – он доходил до Прохора Ильича неясно, сквозь сияние возобновившейся головной боли. – Когда умерла моя жена, я испытал это: какой же смысл имел весь азарт, метания, и может быть, грех на душу – перед лицом вот этого...

– Известная тема. Но с другой стороны, – поднял бровь красноносый философ, – не на все же смотреть с балкончика. Себя-то знаешь еще и изнутри, какого ни на есть, но со своими мыслишками, идеями, надеждами – может быть, пустячными, нелепыми – но ведь твоими. Исключительными, так сказать. Выделяют же они тебя из среды этих молекул, никто другой на свете и вообразить такого не может.

– Где уж вообразить, – усмехнулся Меньшутин. – А если это именно ересь, навязчивая болезнь, игра, да еще сомнительного свойства?

– Что из того? – охотно откликнулся тот. – Допустим, я старый графоман – что ж мне, отказаться от себя? От своей судьбы, своего лица? Своей, как вы выразились, игры? Нет уж, позвольте мне поиграть. Может, одно только это и имеет смысл. А коли вас так уж смущает мораль, взгляните еще разок с балкона. Поучительно и излечивает от излишней серьезности. – Старик поставил пустую кружку на прилавок, отер пальцами мокрые губы и достал трубку с резной головкой; Меньшутину показалось, что на ней изображена какая-то рожица, но разглядеть внимательней не успел, тот закрыл головку пальцами. – Хорошо было пивцо, – благодушно продолжал он, раскуривая трубку. – Вот так выпьешь после всего, затянешься хорошим табачком – вспомнишь, что в жизни есть еще и удовольствия, а?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.